Международный бестселлер

Элегия Хиллбилли

История жизни одной семьи в условиях кризиса

ДЖЕЙ ДИ ВЭНС

FORBES:
самая ожидаемая
новинка
нонфикшн

Премьера
NETFLIX
2020 года

85 000 отзывов
на Good Reads
12 700 отзывов
на Amazon

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Послевоенная Америка. Бабушка и дедушка Вэнса переезжают на север из района Аппалачей в Кентукки в надежде на лучшую жизнь. Им удается пробиться в средний класс. А их внуку — поступить и окончить юридический факультет престижного университета. Но с каждой страницей открываются суровые подробности прошлой жизни героев. Алкоголизм и наркозависимость, детские травмы, нищета и безработица. С пронзительной искренностью и долей юмора Вэнс рассказывает о жизни своей семьи в безнадежных условиях. Где искать выход, когда вся твоя жизнь давно предопределена? Поддержка близких, примеры успеха и хорошее образование помогли герою навсегда выбраться из нищеты. Однако демоны прошлого до сих пор вмешиваются в его настоящее.

- Джей Ди Вэнс
  -
  - Введение
  - Глава первая
  - Глава вторая
  - Глава третья
  - Глава четвертая
  - Глава пятая
  - Глава шестая
  - Глава седьмая
  - Глава восьмая
  - Глава девятая
  - Глава десятая
  - Глава одиннадцатая
  - Глава двенадцатая
  - Глава тринадцатая
  - Глава четырнадцатая
  - Глава пятнадцатая
  - Заключение
  - Благодарности
  - Примечания автора
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49

- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76

Джей Ди Вэнс
Элегия Хиллбилли

Посвящается Мамо и Папо — моим личным хиллбилли-терминаторам

J.D. Vance
HILLBILLY ELEGY

hillbilly elegy. Copyright
© 2016 by J.D. Vance. All rights reserved. Printed inthe United States of America. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without written permission except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information, address HarperCollins Publishers, 195 Broadway, New York, NY 10007.

HarperCollins books may be purchased for educational, business, or sales promotional use. For information, please e-mail the Special Markets Department at SPsales@harpercollins.com.

first edition
Designed by Leah Carlson-Stanisic
Library of Congress Cataloging-in-Publication Data has been applied for. ISBN: 978-0-06-230054-6

© Баканов В.И., перевод на русский язык, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

Введение

Меня зовут Джей Ди Вэнс, и начать стоит с признания: я считаю существование книги, которую вы держите в руках, абсурдом. На обложке написано, что это мемуары, но мне всего тридцать один год, и я первым готов признать, что в своей жизни не совершил ничего выдающегося — ровным счетом ничего, что заставило бы людей заплатить за возможность обо мне прочитать. Самое неординарное, что я сделал, — я окончил Йельскую школу права, хотя в тринадцать лет об этом не смел даже мечтать. Однако каждый год Йель выпускает двести новых юристов, и уж поверьте, вам про их жизнь читать неинтересно. Я не сенатор, не губернатор и не бывший секретарь кабинета министров. Я не основатель компании с миллиардными оборотами и не глава фонда. Все, что у меня есть — это хорошая работа, чудесная жена, уютный дом и две собаки.

Книгу я написал вовсе не потому, что совершил нечто выдающееся. Я добился чего-то совершенно обычного, но недостижимого для людей с таким происхождением. Я родился в Ржавом поясе[1] в крохотном сталелитейном городке штата Огайо, где, сколько себя помню, процветали безработица и нищета. С родителями отношения были, мягко говоря, непростыми; тем более что один из них практически всю жизнь боролся с пагубной привычкой. Воспитывали меня бабушка и дедушка, не получившие в свое время даже школьного образования; и вообще, мало кому из нашего семейства посчастливилось учиться хотя бы в колледже. Статистика показывает, что у таких, как я, будущее весьма печально: кто не угодит в лапы социальной опеки, умрет от передозировки героином — что, собственно, и произошло с десятком человек в моем родном городе за один лишь прошедший год.

Мне была уготована такая же судьба. Я едва не бросил школу и почти поддался пагубному настрою, характерному для окружающих. Сегодня люди смотрят на меня — обладателя достойной работы и диплома Лиги плюща — и считают кем-то вроде гения: мол, такого могла добиться только выдающаяся личность. При всем уважении скажу: это — полнейшая чушь! Все свои таланты я растратил бы впустую, если бы не титанические усилия нескольких близких мне человек.

В этой книге реальная история моей жизни. Я хочу, чтобы вы знали, каково это — разочароваться в себе и как с этим бороться. Чтобы представляли, что происходит в жизни бедняков и как духовная и материальная нищета сказывается на психическом

состоянии их детей. Хочу, чтобы поняли, какой «американскую мечту» видят такие, как я и мои близкие, осознали, что чувствует человек, поднимаясь вверх по социальной лестнице. И чтобы поняли одну вещь, которую я и сам узнал лишь недавно: даже если тебе посчастливится осуществить «американскую мечту», бесы прошлого всегда будут тебя преследовать.

Моя история касается и вопроса этнического происхождения. В нашем толерантном обществе расу обозначают, как правило, лишь по цвету кожи — «темнокожий», «азиат», «белый»… Обычно таких широких категорий достаточно, но для лучшего понимания вам придется вникнуть в некоторые детали. Пусть я белый, но я не отношу себя к числу американцев англосаксонского происхождения и протестантского вероисповедания, которые живут на северо-востоке страны. Я считаю себя белым американцем из рабочего класса ирландского и шотландского происхождения. Для таких людей бедность — семейная традиция. Их предки сперва были поденными рабочими на рабовладельческом Юге, затем издольщиками, а позднее, ближе к нашему времени, шахтерами, машинистами и столярами. Американцы называют их «хиллбилли», деревенщиной и «белым быдлом». Для меня они родня, друзья и соседи.

Шотландцы и ирландцы — уникальная этническая группа в США. Как отметил один наблюдатель, «путешествуя по Америке, я поражался тому, сколь стойка и неизменна региональная культура шотландцев и ирландцев. Их семейная иерархия, религия, политика, а также социальная жизнь остаются незыблемыми на протяжении многих лет, в то время как остальные этнические группы повсеместно отказываются от своих традиций»[1]. Это уникальное отношение к культурным ценностям имеет немало преимуществ: например, нам свойственно сильное чувство верности, мы преданы семье и государству. Однако есть в нем и немало недостатков. Мы не любим посторонних, всех, кто от нас отличается. Не важно, в чем разница — во внешности ли, в поведении или в манере разговора. И я по сути самый настоящий шотландско-ирландский хиллбилли.

Этническая принадлежность — лишь одна сторона медали; другая — география этого региона. Когда первая волна переселенцев из Ирландии и Шотландии в XVIII столетии высадилась на земли Нового Света, местом своего обитания они выбрали горы Аппалачи. Эта территория огромна — она простирается от Алабамы и Джорджии на юге до Огайо и Нью-Йорка на севере, — но, невзирая на масштабы, обычаи и культура местного населения удивительно похожи. «Хиллбилли», «парнями с холмов», зовет себя не только моя семья из восточного

Кентукки; о них же в своем сельском гимне «И деревенский парень может выжить» поет Хэнк Уильямс-младший[2] родившийся в Луизиане и живущий в Алабаме. Когда наш регион сменил политические пристрастия, отдав после Никсона предпочтение республиканцам, то политический курс пришлось изменить всей стране. И именно в Аппалачах судьба белого рабочего класса выглядит наиболее удручающей. Низкий уровень социальной мобильности, большое количество разводов, огромный процент бедных и наркомания — все это делает мой дом обителью нищеты.

Поэтому неудивительно, что мы не отличаемся особым оптимизмом. По результатам опросов белые представители рабочего класса — это самый пессимистично настроенный слой населения в Америке. Пессимизмом мы превосходим даже эмигрантов из Латинской Америки, которые живут в беспросветной нищете, и темнокожих, чьи возможности по-прежнему не идут ни в какое сравнение с перспективами белых. Хиллбилли глядят в будущее с еще большей тоской, нежели прочие этнические группы, куда более обездоленные, чем мы, потому что у нашего уныния есть и другие причины.

Мы больше прочих стремимся к социальной изоляции и приучаем обосабливаться своих детей. У нас другая религия: наши проповеди строятся на грубой эмоциональной риторике, которая не предлагает социальной поддержки, необходимой детям из нищих семей. Многие из нас бросают работу и отказываются переезжать в более перспективный район, чтобы улучшить материальное положение. Наши мужчины повсеместно испытывают тяжелый психологический кризис, поскольку сама культура прививает нам убеждение, что добиться успеха в этом изменчивом мире практически невозможно.

Когда я рассказываю кому-нибудь о бедственном положении своего окружения, то часто слышу в ответ: «Конечно, перспективы белого рабочего класса не столь радужны, Джей Ди, только ты уж определись, что появилось раньше: курица или яйцо. Да, эти люди чаще разводятся, реже женятся и вообще менее счастливы — но все потому, что у них очень ограничены экономические возможности. Получи они достойную работу — и жизнь во многом станет лучше».

Когда-то в юности я и сам придерживался подобного мнения. Плохо, когда у тебя нет работы, и еще хуже — когда нет денег. Производственный сектор Среднего Запада понемногу приходил в упадок, и белый рабочий класс терял экономическую стабильность, а вместе с нею и дома с семьями.

Однако с опытом пришло понимание, что причина всему не

только экономика. Несколько лет назад, когда я готовился поступать в Йельскую школу права, я искал работу, чтобы скопить средства на переезд в Нью-Хейвен, штат Коннектикут. Один знакомый предложил место в его небольшой фирме по продаже напольной плитки. Плитка — материал весьма увесистый, каждая штука весит от трех до шести фунтов, и упаковывают ее в ящики по восемь — двенадцать штук. Мои обязанности заключались в том, чтобы грузить ящики в транспортировочные поддоны и готовить их к перевозке. Работа была тяжелой, но платили за нее тринадцать долларов в час, а мне очень нужны были деньги, поэтому я охотно согласился и даже набрал побольше сверхурочных смен.

В фирме помимо меня работало еще человек десять, многие не первый год. У одного парня была и другая работа, но не потому что он нуждался в деньгах — просто копил средства, чтобы исполнить давнюю мечту и выучиться на пилота. Зарплата тринадцать долларов в час для нашего города считалась весьма достойной; аренда приличного жилья обходилась тогда в пятьсот долларов в месяц. Кроме того, фирма понемногу росла, и работник, продержавшийся несколько лет, зарабатывал уже не меньше шестнадцати долларов в час, что обеспечивало годовой доход в тридцать две тысячи, то есть сумму, которая в условиях упадка экономики превышала черту бедности даже для целого семейства. Тем не менее компания никак не могла найти на склад постоянных работников. Вместе со мной там было всего три человека, из которых я в свои двадцать шесть оказался самым старшим.

Один парень, назовем его Боб, пришел за пару месяцев до моего ухода. Ему было девятнадцать, и его подруга недавно забеременела. Девушке пошли навстречу и предложили ей должность в администрации — отвечать на телефонные звонки. Работники из обоих оказались неважнецкие. Девушка через день прогуливала и не считала нужным предупреждать начальство. Ее не раз отчитывали, но избавляться от этой дурной привычки она не спешила, поэтому спустя несколько месяцев ее уволили. Сам Боб примерно раз в неделю тоже не выходил на смену и постоянно опаздывал. Кроме того, по три-четыре раза на дню он мог отойти в туалет и пропасть на целых полчаса, если не больше. Я с другим напарником даже придумал игру: засекать время, когда Боб уходит, и громко, на весь склад оглашать, сколько он уже отсутствует: «Тридцать пять минут!», «Сорок пять!», «Час!».

Разумеется, Боба тоже уволили. Получив уведомление, он принялся орать на менеджера: «Да как вы смеете?! Вы что,

забыли, у меня скоро родится ребенок!» И такое поведение позволял себе не он один. За те несколько месяцев, что я проработал на складе, с позором выгнали еще двоих человек, включая двоюродного брата Боба.

Подобные истории надо учитывать, когда говоришь о «равных возможностях». Лауреаты Нобелевской премии в области экономики обеспокоены упадком промышленности на Среднем Западе и истощением экономического ядра в среде белого рабочего класса. Речь о том, что производство все чаще перемещается за границу и людям со средним образованием труднее найти работу, не требующую высокой квалификации. Однако моя книга о другом — о том, что происходит в жизни реальных людей, когда индустриальная экономика идет на спад. О том, что на плохие обстоятельства можно реагировать по-разному, порой выбирая наихудший из всех возможных вариантов. Речь будет идти о том, что социальная культура все сильнее поощряет социальный распад, вместо того чтобы ему противодействовать.

Проблемы, с которыми я столкнулся во время работы на складе, лежат в куда более глубоких сферах, нежели макроэкономические тенденции и политика. Слишком многие молодые люди не готовы к тяжелой работе. Хорошие вакансии пустуют на протяжении долгих месяцев. Парень, которому надо бы держаться за любую должность, потому что у него на попечении молодая жена и скоро будет ребенок, с легкостью бросает приличную работу с медицинской страховкой. А хуже всего то, что винит он окружающих. Это вопрос недостатка воли: когда у тебя есть ощущение, что ты плохо контролируешь свою жизнь, возникает желание винить кого угодно, лишь бы не себя. И картина эта кардинально отличается от экономического ландшафта всей современной Америки.

Стоит отметить, что, хотя пишу я лишь об ограниченном круге людей, которых знаю лично — о представителях белого рабочего класса из Аппалачей, — я вовсе не пытаюсь доказать, будто они заслуживают большего сочувствия, чем кто-либо другой. Мой рассказ вовсе не о том, что у белых больше причин для жалоб, чем у темнокожих или представителей других рас. Я надеюсь, что читатели моей книги поймут, как классовое происхождение и семья влияют на сознание бедного человека независимо от его расовой принадлежности. У многих аналитиков термины вроде «королева пособий»[3] ассоциируются с образом ленивой чернокожей мамаши, живущей на выплаты по безработице. Читатели книги быстро убедятся, что этот образ весьма условный: я знал немало «королев пособий», которые

жили со мной по соседству, и все они были белыми.

Эта книга не претендует на звание научного исследования. За последние несколько лет Уильям Джулиус Уилсон, Чарльз Мюррей, Роберт Патнэм и Рэй Четти уже опубликовали немало трактатов, в которых показано снижение вертикальной мобильности. Оно началось в 1970-е годы и в некоторых регионах продолжается по сей день (сенсация: в Аппалачах и Ржавом поясе самые низкие показатели!). Многие признаки этого феномена я наблюдал собственными глазами. Я мог бы поспорить с некоторыми выводами ученых, но в любом случае они убедительно доказывают, что эта проблема в американском обществе есть. И хотя я порой все-таки буду опираться на их данные и ссылаться на научные исследования, моя задача — не убедить вас в существовании проблемы; моя цель — рассказать правдивую историю о том, каково это — родиться и жить с таким камнем на шее.

Я не могу обойтись без персонажей, которые окружали меня на протяжении многих лет. Перед вами мемуары не личные, а семейные: история подъема по социальной лестнице глазами нескольких хиллбилли из Аппалачей. Два поколения назад мои бабка с дедом были парочкой влюбленных бедняков. В надежде спастись от нищеты они поженились и переехали на север. Их внук (то есть я) окончил одно из престижнейших учебных заведений мира. Это если в двух словах. Более подробная версия истории — в следующих главах.

В некоторых случаях я буду изменять имена людей, чтобы не раскрывать подробности их личной жизни, но в целом моя история представляет собой точную летопись того, что я наблюдал собственными глазами. В ней нет вымышленных персонажей и моих субъективных оценок. Там, где это возможно, я подтверждаю свои слова деталями, ссылаясь на табели успеваемости, цитаты из писем, подписи к фотоснимкам; хотя, конечно же, у меня встречаются и ошибки, потому что человеческая память не совершенна. Был случай, когда я попросил сестру прочитать один из черновиков, и у нас завязалась долгая дискуссия о хронологическом порядке некоторых событий. Правда в итоге я оставил свою версию, но не потому что сомневаюсь в сестре (ее память будет получше моей), а потому что, на мой взгляд, читателю удастся извлечь более ценный урок из того, как я выстроил эти события у себя в голове.

Я отнюдь не беспристрастный наблюдатель. Почти каждый человек, которого вы встретите на страницах книги, совершил немало грехов. Одни чуть было не стали убийцами — помешала лишь случайность. Другие физически и эмоционально

измывались над детьми. Третьи злоупотребляли (и продолжают злоупотреблять) наркотиками. Но все эти люди мне близки — даже те, с кем я ни за что не стану больше общаться, будучи в здравом рассудке. Если у вас вдруг сложится впечатление, что меня окружали исключительно негодяи, то мне будет очень жаль: и вас, и тех, кого я описал. Потому что в моей книге злодеев нет. Есть лишь разношерстная компания хиллбилли, которые отчаянно пытались найти в этой жизни местечко получше — не только себе, но и, храни их Господь, мне.

Глава первая

В детстве я, как и любой другой ребенок, заучивал наизусть свой адрес, чтобы сообщить его взрослому на тот случай, если вдруг потеряюсь. Я всегда мог без запинки оттарабанить его воспитателям детского сада, пусть даже он частенько менялся, потому что мать по непонятным мне тогда причинам переезжала с места на место. И все же я всегда различал понятия «мой адрес» и «мой дом». «Адрес» — это там, где я проводил большую часть времени с матерью и сестрой, где бы это место ни находилось. А вот «домом» для меня был город Джексон в штате Кентукки, усадьба моей прабабушки.

Джексон — маленький городок с населением около шести тысяч человек, расположен он в самом сердце угольной добычи на юге Кентукки. В общем-то, город — это громко сказано; здесь есть только здание суда, парочка мелких ресторанов (сети быстрого питания) и несколько магазинов. Жители в основном селятся вдоль трассы КИ-15: либо в трейлерных парках, либо в субсидированном жилье, фермерских коттеджах или усадьбах вроде той, с которой у меня связаны самые яркие воспоминания детства.

Обитатели Джексона сердечно здороваются с каждым встречным, готовы пропустить матч любимой команды, если надо откопать из-под снега чужой автомобиль, и всегда, без исключения, останавливаются и выходят из машины, когда мимо движется похоронный кортеж. Именно последнее и заставило меня понять, что в Джексоне и его жителях есть нечто особенное. Однажды я спросил у бабушки — которую все мы звали Мамо, — почему люди останавливаются перед катафалком? «Потому что, милый мой, мы люди с холмов. И уважаем мертвых».

Мои бабушка с дедушкой уехали из Джексона в конце 1940-х годов, детей они воспитывали в Мидлтауне, штат Огайо. Там я и родился. Однако до двенадцати лет каждые каникулы проводил в Джексоне. Я приезжал вместе с Мамо, которая хотела почаще видеть родных и друзей, понимая, что с годами их становится все меньше. Потом мы стали ездить по другой причине — приглядывать за ее матерью, которую мы называли Мамо Блантон (чтобы не путать с нашей Мамо). С Мамо Блантон мы жили в доме, где она поселилась еще с тех пор, как ее муж ушел воевать с японцами в Тихом океане.

Этот дом стал для меня лучшим местом на свете, хоть он не мог похвастать ни размерами, ни роскошной обстановкой. В нем было всего три спальни, небольшая веранда с качелями и

просторный двор, одним краем упиравшийся в подножье горы, а другим — в овраг (или как мы говорили — в балку). Хотя земли у Мамо Блантон было много, она за ней не ухаживала. Двор зарос и пришел в запустение, но благодаря скалам и густым деревьям выглядел весьма живописно. Мы с двоюродными братьями и сестрами играли в балке с ручьем до поздней ночи, пока рассерженная бабуля не разгоняла нас по кроватям в общей комнате наверху.

Большую часть времени я терроризировал местную фауну: ни одна черепаха, змея, лягушка, рыба или белка не могли спокойно прошмыгнуть мимо меня.

Мы с братьями резвились днями напролет, не подозревая ни о нашей вездесущей бедности, ни о болезнях Мамо Блантон.

В глубинном смысле слова Джексон был единственным местом, которое принадлежало только мне, моей сестре и Мамо. Огайо я тоже любил, но с ним было связано слишком много болезненных воспоминаний. В Джексоне я считался внуком самой язвительной женщины на свете и самого опытного механика города; в Огайо — нежеланным сыном двух людей, одного из которых я практически не знал, а вторую — не хотел бы видеть. Мать приезжала в Кентукки лишь раз в год на семейные сборища или похороны, и Мамо всегда старалась сделать так, чтобы обошлось без драм. В Джексоне не было ни криков, ни скандалов, ни драк, ни, разумеется, «мужланов», как нарекла Мамо маминых ухажеров. Она терпеть не могла многочисленных мужей дочери и никогда не пускала их в Кентукки.

В Огайо я быстро понял, что мне придется подстраиваться под каждого своего нового «отца». Стиву, который в борьбе с кризисом среднего возраста проколол себе ухо, я сказал, что носить серьги мужику — это круто. Стив решил проколоть ухо и мне. С Чипом, полицейским-алкоголиком, который считал мою серьгу «девчачьей», пришлось заматереть и полюбить полицейские машины. При Кене, еще одном странном типе, который предложил моей матери съехаться уже на третий день знакомства, я был вынужден брататься с двумя его детьми. Однако все это было враньем! Я ненавидел серьги, я терпеть не мог полицейские машины и знал, что дети Кена самое позднее через год навсегда исчезнут из моей жизни. В Кентукки мне не надо было притворяться; единственные мужчины, которые меня там окружали, — братья и зятья моей бабушки — знали, какой я на самом деле. Хотел ли я, чтобы они мной гордились? Разумеется. Но не потому, что я делал вид, будто они мне нравятся. Я и впрямь всех их искренне обожал.

Самым старшим из Блантонов был дядюшка Тиберри,

которого прозвали так за любовь к жевательной резинке. Во Вторую мировую он, как и его отец, служил во флоте. Дядюшка Тиберри умер, когда мне было четыре года, поэтому о нем у меня осталось лишь два ярких воспоминания. Первое — когда я бегу со всех ног, а он несется вслед за мной с ножом наперевес и кричит, что, если поймает, отрежет мне правое ухо и скормит его собакам. Я прыгаю на руки Мамо Блантон, и жуткая игра заканчивается. Видимо, я очень его любил, потому что второе мое воспоминание — я закатываю истерику, когда меня не пускают попрощаться с ним на смертном одре; тогда бабушка прячет меня под больничным халатом и проносит в палату тайком. Помню, как сидел у нее на руках, а вот самого прощания не помню.

Затем шел дядюшка Пет — очень высокий, резкий на язык и с весьма своеобразным чувством юмора. Из всех Блантонов он добился наибольшего успеха. Дядюшка Пет в юном возрасте ушел из дома и организовал маленькую деревообрабатывающую и строительную фирму, приносившую небольшой доход, который он в свободное от работы время спускал на скачках. На вид он был милейшим человеком, эдаким лощеным бизнесменом. Однако под мягкой внешностью скрывался железный характер. Однажды водитель, который привез моему дядюшке-хиллбилли товары, отказался их разгружать, мол, «таскай это барахло сам, сукин ты сын». Дядюшка Пет воспринял его слова буквально: «Хочешь назвать мою любимую матушку сукой? Придержал бы ты язык, приятель». Водитель (его прозвали Рыжий Громила из-за роста и цвета волос) повторил оскорбление, поэтому дядюшка в ответ поступил так, как поступил бы любой другой добропорядочный предприниматель на его месте — вытащил водителя из кабины, избил его до полусмерти и чуть было не прирезал электропилой. Рыжий Громила выжил лишь сущим чудом: его вовремя доставили в больницу и откачали. Дядюшку Пета, впрочем, не арестовали. Видимо, Рыжий Громила тоже был из местных, поэтому решил в полицию не сообщать: знал, что в здешних кругах матерей оскорблять не принято.

А вот дядюшке Дэвиду — еще одному брату Мамо — на вопросы чести было плевать. Старый бунтарь с длинными растрепанными волосами и густой бородой обожал нарушать правила и никогда не оправдывался. Именно поэтому, когда я обнаружил на заднем дворе заброшенной фермы гигантскую плантацию марихуаны, он даже не пытался ничего объяснить. В ужасе я спросил у дядюшки, что делать с таким количеством травки. Он же достал папиросную бумагу и затянулся. Мне было двенадцать. Если бы Мамо узнала, то убила бы его на месте.

Причем убила бы в буквальном смысле. По семейным

преданиям, Мамо однажды уже покушалась на жизнь человека. Когда она была в моем возрасте, то есть лет в двенадцать, она увидела, как их корову — самое ценное имущество семьи в доме без водопровода — затаскивают в кузов грузовика двое мужчин. Она схватила ружье, выбежала из дома и несколько раз выстрелила по ворам. Один из мужчин упал — она попала ему в ногу, — второй вскочил в грузовик и умчался. Незадачливый воришка хотел было уползти, но Мамо без труда нагнала его и приставила ружье к голове, чтобы довершить начатое. К счастью для вора, на шум выскочил дядюшка Пет, так что с убийством у Мамо не сложилось.

Впрочем, даже зная ее страсть к огнестрельному оружию, в правдивость этой байки я не верю. Я расспрашивал других членов нашей семьи, и многие из них о том случае никогда не слышали. Тем не менее я уверен, что, если такая ситуация сложилась бы на самом деле, Мамо запросто убила бы вора. Для нее не было ничего страшнее предательства своих же собратьев. Всякий раз, когда у нас с крыльца воровали велосипеды (что, по моим подсчетам, случалось трижды), или таскали из машины мелочь, или забирали наши посылки из почтового ящика, она как генерал, отдающий войскам приказ, заявляла: «Самое подлое — воровать у таких же бедных соседей. Нам и без того приходится несладко. Не надо, черт возьми, портить друг другу жизнь».

Самым молодым из Блантонов был дядя Гэри. Милейший человек, в юности он тоже ушел из дома и открыл в Луизиане успешный кровельный бизнес. Хороший муж, отличный отец… Он всегда говорил мне: «Мы гордимся тобой, оле Джейдот», и я краснел от смущения. Я любил его больше всех — он единственный из моих дядюшек не грозил надрать мне задницу или отрезать ухо.

Еще у бабушки было две сестры, Бетти и Роуз. Их я тоже любил, но к мужской половине семьи меня тянуло сильнее. Я всегда крутился у дядюшек под ногами и умолял их рассказать какую-нибудь байку. Они были хранителями семейных преданий, а я — самым благодарным их слушателем.

Многие из этих историй совсем не предназначались для детских ушей. Почти всегда речь шла о насилии и криминальных драмах. В конце концов, неспроста округ Бритит, где располагался Джексон, имеет неофициальное название «Кровавый». Тому есть немало объяснений, но главное одно: люди Бритита не терпят несправедливости и борются с нею — не всегда законными методами.

Самое популярное предание Бритита повествовало о пожилом мужчине, которого обвинили в изнасиловании юной девушки,

почти ребенка. За пару дней до суда мужчину нашли в озере; он плавал лицом вниз с шестнадцатью пулями в спине. Местные власти убийство расследовать не стали, а газеты ограничились лишь короткой заметкой на следующий день после того, как обнаружили тело. Текст гласил: «Обнаружен мертвец. Возможно, смерть носит насильственный характер». «Еще бы не насильственный! — бушевала Мамо. — Еще какой насильственный! Ублюдку отомстили за все!»

Однажды дядюшка Тиберри услышал, как один из парней говорит о его сестре (то есть о нашей Мамо), что он, мол, мечтает «съесть ее трусики». Дядюшка Тиберри поехал домой, взял у нее в ящике нижнее белье и заставил парня, угрожая тому ножом, и впрямь его съесть.

Некоторые читатели, возможно, подумают, что у нас вся семейка чокнутая. И все же благодаря таким рассказам я чувствовал себя едва ли не королем хиллбилли, потому что это были классические истории о добре и зле, причем мои родственники всегда находились на стороне добра. Да, они порой позволяли себе лишнего, но исключительно ради правого дела: защищая честь сестры или заслуженно карая преступника. Мужчины Блантон, как и их сестра — наша Мамо, — верили в справедливое правосудие, и для меня это было главным.

Однако, несмотря на все свои достоинства — а может, и благодаря им, — они не были лишены пороков. За многими моими дядьками тянулась вереница брошенных детей и обманутых жен. В конце концов, я не так уж хорошо их знал, потому что видел лишь на семейных сборищах и на каникулах. Тем не менее я любил их и уважал. Мамо как-то сказала своей матери, что я тянусь к Блантонам, потому что отцы в моей жизни сменяются как перчатки, а дядьки всегда рядом. Однако для меня главнее было то, что мужчины Блантон воплощали в себе дух Кентукки. Я любил их, потому что любил Джексон.

С возрастом моя одержимость Блантонами сменилась чувством благодарности, да и Джексон я понемногу перестал считать земным раем. Я всегда буду думать об этом месте как о родном доме. Здесь бывает умопомрачительно красиво: когда в октябре желтеют листья, то кажется, что горы объяты пламенем. Однако при всей своей красоте и чудесных воспоминаниях, что связаны у меня с этим городом, Джексон — место очень непростое. Здесь я усвоил, что «хиллбилли» и «бедняки» — зачастую одно и тоже. В доме Мамо Блантон мы ели на завтрак яичницу-болтунью, ветчину, жареный картофель и булочки, на обед — сэндвичи с копченой колбасой, а на ужин — бобовый суп и кукурузный хлеб. Однако мало кто из жителей Джексона мог

похвастать столь богатым рационом. Я понял это с годами, когда невольно подслушивал разговоры взрослых о нищих детях, которых кормят за счет города. Как ни оберегала меня Мамо от этой стороны жизни, правда рано или поздно выплывает наружу.

Во время последней своей поездки в Джексон я, разумеется, остановился в старом доме Мамо Блантон, где сейчас живет мой двоюродный брат Рик с семьей. Мы заговорили о том, как все изменилось. «Здесь теперь одни наркоманы, — сокрушался Рик. — И за работу никто не держится». Я попросил сыновей Рика провести меня по здешним местам и повсюду увидел лишь самые страшные симптомы аппалачской нищеты. Многие картинки той жизни были как нарисованные: дряхлые гнилые лачуги, бездомные голодные собаки, разломанная мебель на газоне… Кое-что из увиденного меня потрясло до слез. Проходя мимо одного крошечного домика, я заметил в окне испуганные глаза. Из-за штор выглядывали дети. Кажется, их было восемь. В их взглядах было столько тоски и страха. На крыльце сидел тощий мужчина лет тридцати пяти, видимо, глава семейства. Несколько злобных цепных псов сторожили разбросанную по пустынному двору мебель. Я спросил у сыновей Рика, чем этот мужчина зарабатывает на жизнь, и те ответили, что работы у него нет и он очень этим гордится. А потом добавили: «Эти ребята те еще гаденыши, мы с ними не водимся».

Возможно, увиденное в том доме было крайностью, но оно позволило представить, как живут люди в Джексоне. Почти треть населения находится за чертой бедности, остальные — на грани нищеты. Катастрофически растет наркотическая зависимость от рецептурных препаратов. Государственные школы столь отвратительны, что даже власти штата недавно обратили на них внимание. Впрочем, родители по-прежнему отдают туда детей, пусть потом у них не будет ни малейшего шанса поступить в колледж — денег на приличное образование все равно нет. Многие жители страдают хроническими заболеваниями, но без государственной поддержки не могут получить даже простейшие лекарства. А самое страшное — что такая жизнь всех устраивает, и люди стесняются говорить о своих проблемах, чтобы окружающие их не осуждали.

В 2009 году телеканал «Эй-Би-Си ньюс» выпустил репортаж об Аппалачской Америке, в котором говорили о явлении, известном среди местных как «рот Маунтин-Дью» — когда у маленьких детей начинаются проблемы с зубами, вызванные чрезмерным употреблением сладкой газировки. В своем сюжете “Эй-Би-Си” акцентировал внимание на аппалачских детях, живущих в бедности и лишениях. Репортаж показывали и в нашем

регионе. Интереса у местных жителей он не вызвал, реакция последовала одна: «не лезьте не в свое дело». «Это самое мерзкое оскорбление, которое я только слышал. Постыдились бы, Эй-Би-Си!» — так написал некий комментатор в социальных сетях. Другой добавил: «Вам должно быть стыдно за то, что вы укрепляете старые стереотипы и создаете ложную картину действительности. Так считают многие жители горных сел, с которыми мне доводилось общаться».

Я знаю это из первых уст, потому что моя двоюродная сестра пыталась спорить с критиками в Фейсбуке, убеждая их, что, только признав проблемы региона, их можно будет решить. Эмбер имеет право судить жителей Аппалачей — в отличие от меня, она безвылазно провела в Джексоне все детство. В старшей школе у нее открылись редкие способности к учебе, и она первой в нашей семье получила высшее образование. Нищету и убожество Джексона Эмбер видела своими глазами, но сумела их преодолеть.

С таким же негодованием хиллбилли встречают и научно-исследовательскую литературу о проблемах Аппалачей. В декабре 2000 года социологи Кэрол А. Маркстрем, Шейла К. Маршалл и Робин Дж. Трион обнаружили, что среди аппалачских подростков «предсказуемо высока» доля заблуждений и всячески процветает стремление выдавать желаемое за действительность. В их работе предполагалось, что хиллбилли с ранних лет учатся закрывать глаза на неудобные истины или притворяться, будто дела обстоят лучше, чем есть. С одной стороны, это способствует формированию устойчивой психики, но с другой, затрудняет развитие критического мышления.

Мы все склонны преувеличивать и преуменьшать свои заслуги, прославлять хорошие поступки и игнорировать плохие. Именно поэтому жители Аппалачей столь резко отзываются на объективную оценку самой обездоленной прослойки их общества. Именно поэтому я преклонялся перед мужчинами Блантон и до восемнадцати лет искренне считал, будто все беды этого мира пройдут мимо меня стороной.

Правду принять нелегко, а труднее всего жителям Аппалачей принять правду о себе. В Джексоне полно замечательных людей, но еще здесь много наркоманов; и по крайней мере один житель этого города нашел время, чтобы сделать восьмерых детей, не желая искать возможности их прокормить. Это очень красивое место, однако его красоты не видно под грязью, мусором и хламом. Жители трудолюбивы — но есть и те, кто живет за счет продовольственных талонов и не хочет устроиться на работу. Джексон, как и семья Блантон, полон противоречий.

Все настолько плохо, что прошлым летом, когда мой кузен Майк похоронил мать, он сразу же задумался о продаже ее дома. «Я не могу здесь жить, а оставлять дом без присмотра нельзя, — сказал он. — Иначе его сразу разграбят наркоманы». Джексон всегда был бедным городом, но прежде жители не боялись за сохранность имущества своих родителей. Место, которое я зову своим домом, стремительно меняется к худшему.

Возможно, у вас возникает соблазн считать эти беды уделом лишь глухого захолустья, однако мой жизненный опыт подсказывает, что тяжелая ситуация Джексона — проявление общей тенденции. Благодаря массовой миграции из наиболее бедных районов Аппалачей в места вроде Огайо, Мичигана, Индианы, Пенсильвании и Иллинойса вместе с хиллбилли распространяются и хиллбиллийские ценности. К примеру, переселение из Кентукки в Мидлтаун, штат Огайо (где я вырос), набирает такие обороты, что в детстве мы насмешливо называли переселенцев «мидлтукки».

Мои бабка и дед уехали из Кентукки в Мидлтаун в поисках лучшей жизни, и в какой-то мере они ее нашли. С другой стороны, сбежать от прошлого им так и не удалось. Наркотическая зависимость, ставшая бичом Джексона, все равно настигла в Огайо их старшую дочь. В Джексоне процветала любовь к газировке — но моей бабушке пришлось бороться с ней и в Мидлтауне: она впервые увидела, как мать наливает в мою бутылочку пепси, когда мне было всего девять месяцев. В Джексоне мало добропорядочных отцов; в нашей жизни — жизни внуков — их тоже не хватает. Люди годами пытались вырваться из Джексона, теперь они отчаянно хотят спастись от нищеты в Мидлтауне.

Если причиной всему Джексон, то не совсем ясно, как этим бедам положить конец. Много лет назад, наблюдая с Мамо за похоронной процессией, я понял, что в душе я истинный хиллбилли. Не только я, но и большая часть белых рабочих. А еще я понял, что у нас, у хиллбилли, не все гладко.

Глава вторая

Хиллбилли многие вещи любят называть по-своему. Речные раки у нас «плавунцы», рыбные мальки — «маляхи». Долина с отвесными склонами обычно называется «оврагом», но я скажу «овраг», только объясняя другу, что такое «балка». Бабушек и дедушек тоже везде зовут по-разному: «нэнни», «по-по», «грэнни» и так далее. Но я никогда не слышал, чтобы говорили «мамо» и «папо» где-то за пределами нашей общины. Эти слова — только для хиллбилли.

Мои бабушка с дедушкой, Мамо и Папо, Бонни Блантон и Джим Вэнс… Они потратили на меня последние годы жизни, постарались привить семейные ценности и убеждения, вместо родителей преподали важнейшие уроки. Они заставили меня поверить в свои силы и дали шанс осуществить «американскую мечту». Вряд ли сами они в юные годы рассчитывали добиться успеха. Что у них тогда было? Аппалачские горы и крохотная школа с одним учителем по всем предметам — где уж тут мечтать о будущем…

О юных годах Папо нам известно мало, практически ничего. Можно сказать, что, по меркам хиллбилли, его семья считалась весьма влиятельной. Один из их далеких предков, которого тоже звали Джимом Вэнсом, породнился с семьей Хэтфорд, а потом вступил в ряды бывших конфедератов, зовущих себя «Дикими котами». В стычке он убил солдата армии Союза, Асу Хармона Маккоя, и тем самым положил начало самой известной семейной вендетте в американской истории[4].

Наш Папо — Джеймс Ли Вэнс — родился в 1923 году. Второе имя ему дали в честь его отца, Ли Вэнса. Тот умер спустя несколько месяцев после рождения сына, и убитая горем мать, Голди, отправила Папо к свекру, Папаше Талби, человеку весьма суровому, владевшему небольшой лесопильней в Джексоне. Голди иногда присылала им деньги, но сына навещала редко. Так что первые семнадцать лет своей жизни Папо прожил у Талби.

Домик у Папаши Талби был крохотным, всего на две комнаты, и стоял он по соседству с усадьбой, где жили Блейн и Хэтти Блантон со своими восемью детьми. Хэтти пожалела мальчика, оставшегося без родителей, и фактически заменила ему мать. Вскоре Джим стал едва ли не членом ее семьи: большую часть времени он проводил с мальчишками Блантон и обедал на кухне у Хэтти. Логично, что в жены он выбрал их старшую дочь.

Джим породнился с людьми весьма крутого нрава. В Бритите о Блантонах ходила дурная слава, за их семейством из прошлого

тоже тянулся кровавый след.

Прадед Мамо в начале XX века баллотировался на должность городского судьи, но его сын Тилден — дед Мамо — в день выборов убил одного из родственников главного конкурента[2]. О том случае даже писали в «Нью-Йорк таймс», и в статье особенно любопытны два момента. Во-первых, Тилдена за убийство так и не посадили. Во-вторых, по словам газеты, в округе после этого «начались волнения»[3].

Когда я впервые прочитал о тех событиях, то испытал прежде всего гордость. Вряд ли кто-то еще из моих предков удостаивался чести быть упомянутым на страницах «Нью-Йорк таймс» — самой популярной газеты страны. А если и удостаивался, то повод, разумеется, был не столь значимым. Подумать только — взять и сорвать выборы! Как говаривала Мамо, можно вывезти мальчика из Кентукки, а вот Кентукки из мальчика — никогда[5].

Не могу даже представить, о чем думал много Папо, когда делал Мамо предложение. Бабуля происходила родом из семьи, где сперва стреляют и лишь потом задают вопросы. Ее отцом был закоренелый хиллбилли с десятком наград за воинскую службу; кровавых подвигов ему хватило бы не на одну передовицу в федеральной прессе. Да и сама Бонни Блантон оправдывала свою жуткую родословную; как говорил мне потом один армейский вербовщик, даже в корпусе морпехов безопаснее и спокойнее, чем у меня дома. «Инструкторы из тренировочного лагеря, конечно, те еще гады, — смеялся он, — но до твоей бабки им далеко!» И все же мой дед не испугался. В 1947 году Мамо и Папо, будучи еще подростками, заключили в Джексоне брак.

После Второй мировой войны, когда эйфория победы схлынула и люди приспособились к жизни в мирных условиях, жители Джексона разделились на две категории: одни решили порвать с корнями и перебраться в промышленный центр новой Америки, другие предпочли остаться дома. Бабушке и дедушке, невзирая на их юный возраст — четырнадцать и семнадцать лет соответственно, — пришлось решать, на чьей они стороне.

Как однажды сказал Папо, для многих его друзей единственным вариантом была работа по добыче угля неподалеку от Джексона. Те, кто остался в Джексоне, всю жизнь потом провели в нищете. Поэтому Папо вскоре после женитьбы забрал молодую жену и увез ее в Мидлтаун, крохотный город в Огайо, где бурно развивалась промышленность. По крайней мере, такую версию событий рассказывали бабушка и дедушка. Как и большинство семейных легенд, в целом их история правдива, но некоторые детали все-таки опущены. Когда я последний раз был в Джексоне, мой двоюродный дед Арчи — бабушкин зять и

последний представитель того поколения — познакомил меня с женщиной по имени Бонни Смит. Та прожила по соседству с Блантонами целых восемьдесят четыре года. В юности они с Мамо были лучшими подругами. Так вот, если верить Бонни Смит, отъезд Мамо и Папо вызвал ужасный скандал!

В 1946 году у Бонни Смит и Папо был роман. Я не совсем понимаю, что это значило в Джексоне тех лет — что они заключили помолвку или просто встречались. Бонни Смит про Папо практически не рассказывала, упомянула только, что он был «умопомрачительно красив». Она помнила лишь одно: в какой-то момент, все в том же 1946 году, он изменил ей с ее лучшей подругой — Мамо. Мамо в ту пору было тринадцать лет, Папо — шестнадцать, но их интрижка завершилась беременностью. Именно беременность вынудила юных возлюбленных покинуть Джексон, поскольку новость о скором пополнении в семье не вызвала восторгов ни у моего жуткого прадеда, ветерана войны, ни у дядек, строго блюдущих честь сестры, ни у вооруженных до зубов соседей. А самое главное, что Бонни и Джим Вэнс не могли прокормить в Джексоне даже себя, что уж говорить про ребенка. Поэтому они сбежали в Огайо: сперва в Дайтон, а потом, пожив там немного, перебрались в Мидлтаун.

Мамо иногда рассказывала о своей дочери, которая умерла еще младенцем, но мы все считали, что та родилась уже после дядюшки Джимми, их старшего ребенка. Всего у Мамо за десять лет после рождения Джимми и до появления на свет моей матери случилось восемь выкидышей. Однако недавно моя сестра нашла свидетельство о рождении некоей «девочки» Вэнс, видимо, той самой тетушки, которую мы не знали, и в документах стояла дата смерти. Ребенок, заставивший наших бабушку и дедушку перебраться в Огайо, не прожил и недели. Судя по датам, убитая горем мать соврала о своем возрасте: ей на момент родов было всего четырнадцать лет, а новоиспеченному отцу — семнадцать; скажи они правду, ее вернули бы в Джексон, а Папо отправили бы в тюрьму.

Итак, первое столкновение Мамо с взрослой жизнью привело к трагедии. Сегодня я частенько задаюсь вопросом: а уехали бы они из Джексона, если бы не ребенок? Судьба Мамо — судьба всей нашей семьи — сложилась благодаря младенцу, который прожил всего шесть дней.

Впрочем, какие бы мотивы — экономические или личные — ни привели моих предков в Огайо, пути назад у них уже не было. Папо нашел работу в «Армко» — крупной сталелитейной корпорации, которая активно набирала персонал в восточных угледобывающих районах Кентукки. Представители «Армко»

часто ездили по городкам вроде Джексона и сулили лучшую жизнь каждому, кто решится переехать на север (причем говорили они чистую правду). Политика корпорации провоцировала массовую миграцию: на работу в первую очередь принимались кандидаты, у которых в «Армко» уже трудился кто-то из родственников. «Армко» не просто выманивала молодых мужчин из Кентукки — она поощряла их забирать с собою целые семьи.

Похожей стратегии придерживались и многие другие промышленные компании, причем вполне успешно. Так, исследователи зафиксировали две крупные волны миграции из Аппалачей в промышленно развитые районы Среднего Запада. Одна началась вскоре после Первой мировой войны, когда вернувшиеся домой солдаты поняли, что не могут найти работу в экономически неразвитых тогда областях Кентукки, Западной Вирджинии и Теннесси. Завершилась она Великой депрессией, больно ударившей по экономике севера[4]. Мои бабушка и дедушка были частью второй волны, состоявшей из аппалачских ветеранов и молодежи 1940–1950-х годов[5]. Кентукки и Западная Вирджиния тогда сильно отставали в развитии от соседей: в горах было лишь два ресурса, важных для экономики северных регионов: уголь и люди. Аппалачи щедро экспортировали и то, и другое.

Точное количество переселенцев назвать сложно, потому что ученые обычно замеряют «чистый отток» — общее число уехавших минус число прибывших. Однако многие семьи часто ездили туда-обратно, искажая данные. Несомненно одно — по «магистрали хиллбилли» (так метафорично именовали это явление северяне, наблюдающие со страхом, как их города и села заполоняют люди вроде моих бабки и деда) прошло огромное количество народа. Масштабы миграции потрясают воображение. В 1950-е годы из каждых ста жителей Кентукки на север уехало тринадцать. В некоторых районах эти цифры были еще выше: округ Харлан, например, прославившийся после документального фильма о забастовках (фильм получил премию Оскар[6]), потерял не менее тридцати процентов населения. В 1960-е один миллион жителей Огайо — десятая часть! — местом рождения называл Кентукки, Западную Вирджинию или Теннесси. И это без учета мигрантов, перебравшихся из других штатов, а также детей и внуков — коих было неимоверное количество, потому что в среде хиллбилли всегда наблюдалась более высокая рождаемость, нежели у коренных северян[6].

Иными словами, мои бабушка и дедушка лишь последовали общему примеру. На север вместе с ними переместилась значительная часть региона. Вам нужны еще доказательства?

Езжайте на любое оживленное шоссе в Кентукки или Теннесси на следующий день после Дня благодарения или Рождества: едва ли не каждый встречный автомобиль, что вы там увидите, будет с номерами Огайо, Индианы или Мичигана. Это машины хиллбилли, которые возвращаются домой после праздников.

Родные Мамо тоже поддались общему ажиотажу. Из семи ее братьев и сестер трое — Пет, Пол и Гэри — переехали в Индиану и занялись строительным бизнесом. Каждый открыл успешное дело и неплохо обустроил свой быт. Роуз, Тиберри, Бетти и Дэвид остались в Джексоне. Им в финансовом отношении пришлось затянуть пояса, разве что дядюшка Тиберри более-менее наладил жизнь по меркам Джексона. В общем, те, кто уехал, в конце концов заняли более высокое социально-экономическое положение, нежели те, кто остался. Папо мудро предвидел, что других перспектив у хиллбилли просто нет.

Наверное, бабушке и дедушке было непросто освоиться в чужом городе. Впрочем, хоть они и остались без близких, в Мидлтауне им было с кем найти общий язык. Большинство жителей города оказались приезжими, причем многие прибыли из Аппалачей. Рекрутская политика корпораций, предпочитавших нанимать целые семьи, привела к вполне предсказуемому результату[7]. На всей территории промышленного Среднего Запада, куда ни глянь, толпились переселенцы. Как говорится в одном исследовании, «миграционный процесс не столько разрушал домохозяйства и поселения, сколько перемещал их целиком в соседний регион»[8]. В Мидлтауне 1950-х годов бабушка и дедушка очутились в привычной им обстановке — и в то же время совершенно чужой. С одной стороны, они впервые оказались без поддержки родственников и соседей; с другой, их по-прежнему окружали такие же хиллбилли, как они сами.

Хотелось бы сказать, что устроились они замечательно, вырастили успешных детей и вышли на пенсию достойными представителями среднего класса. Увы, это не совсем соответствует реальности. Правда в том, что им пришлось прокладывать себе дорогу силой.

На людей, покинувших горы Кентукки в поисках лучшей жизни, тут же наклеивались ярлыки. У хиллбилли есть одна поговорка — «нацепил штаны не по размеру», которая очень метко описывает выскочек; тех, кто слишком много о себе мнит. Эту фразу бабушка и дедушка не раз слышали в свой адрес от коренных жителей Огайо. Еще они остро тосковали по родным, оставшимся в Джексоне, поэтому навещали их при первой же возможности. Такое поведение в принципе характерно для аппалачских мигрантов: по статистике, более девяноста

процентов переселенцев периодически навещают родных, а каждый десятый ездит домой не реже одного раза в месяц[9]. Бабушка и дедушка тоже часто наведывались в Джексон, хотя в 1950-е годы дорога занимала около двадцати часов. Экономическая мобильность оказалась сопряжена со многими проблемами и накладывала на переселенцев немало обязательств.

Многие соседи глядели на хиллбилли с подозрением. Для белых обитателей Огайо, представителей устоявшегося среднего класса, приезжие работяги, разумеется, были отнюдь не ровней. Они рожали чересчур много детей и слишком часто приглашали к себе родню. Братья и сестры Мамо порой жили у нее по несколько месяцев, пытаясь найти работу за пределами Аппалачей. Иными словами, многие традиции и привычки хиллбилли встречали резкое неодобрение со стороны коренных жителей Мидлтауна. В одной книге, «Аппалачская одиссея», говорится о наплыве хиллбилли в Детройт: «Дело не только в том, что мигранты из Аппалачей, деревенщина по натуре, казались не к месту в городе среднезападных белых. Они разрушали привычное представление северян о том, как себя надо вести… Внешне они ничем не отличались от тех, кто управлял экономической, политической и социальной жизнью региона на местном и на федеральном уровнях. Однако на самом деле хиллбилли слишком многое позаимствовали у чернокожих южан, тоже прибывавших в Детройт в неимоверном количестве»[10].

Один из приятелей Папо, хиллбилли из Кентукки, с которым тот познакомился уже в Огайо, работал почтальоном на их улице. Вскоре после переезда на него ополчились власти — из-за кур, которых тот держал во дворе. Он разводил их так же, как Блантоны у себя в балке: каждое утро собирал яйца, а когда птиц становилось слишком много, отбирал несколько самых старых и сворачивал им шеи, разделывая прямиком под окнами. Можете представить, что испытывала благовоспитанная барышня, в ужасе глядя, как сосед из Кентукки душит орущих цыплят буквально в нескольких ярдах от ее забора? Мы с сестрой до сих пор называем нашего почтальона «птичником» и даже сейчас, годы спустя, припоминаем, как Мамо, услыхав про очередное предписание властей, выдала свое фирменное: «Чертовы земельные законы[7]. Пусть уроды, что их придумали, плюнут на них и подотрутся».

С переездом в Мидлтаун возникли и другие проблемы. В Джексоне понятие личной жизни существовало лишь в теории. На практике родственники, друзья и соседи в любой момент могли заявиться без приглашения. Матери читали дочерям наставления, как правильно воспитывать детей; отцы учили сыновей работать;

братья напоминали мужьям своих сестер, как надлежит обращаться с женами. Навыки семейной жизни люди усваивали на примере соседей. В Мидлтауне же было принято считать, что твой дом — твоя крепость.

Однако для Папо и Мамо в этой крепости было слишком пусто. Привыкнув к старинным обычаям, они пытались следовать им в мире, где семьи держатся обособленно, а понятие личной жизни ставится превыше всего. Они только-только поженились, но рядом не было никого, кто научил бы их правилам семейной жизни. Ни бабушек, ни тетушек, ни братьев, ни кузенов, которые помогли бы им с младенцем или домашними заботами. Единственной близкой родственницей оказалась Голди, мать Папо. Однако для сына она была чужой, а Мамо не испытывала к ней ни малейшего уважения, презирая за то, что та бросила ребенка.

Понемногу, с годами, Мамо и Папо привыкали к новой жизни. Мамо сдружилась с «соседскими леди» (так она называла соседок). Папо в свободное от работы время чинил автомобили, и постепенно находил общий язык с коллегами. В 1951 году у них родился сын, мой дядюшка Джимми, истинный гений. По словам Мамо, Джимми научился сидеть в две недели, пошел в четыре месяца, заговорил законченными фразами уже к первому дню рождения, а в три начал читать классические романы (правда сам дядюшка позднее признавался, что это было «некоторым преувеличением»). Они навещали бабушкиных братьев в Индианаполисе и ездили на пикники с новыми приятелями. В общем, жили, как говорил дядюшка Джимми, обычной жизнью «типичного среднего класса». Может быть, немного скучно, но по некоторым меркам даже счастливо — когда есть с чем сравнивать.

Однако не всегда дела шли гладко. Однажды они отправились в центр купить рождественские подарки. Джимми отпустили одного, чтобы тот выбрал себе игрушку по душе.

«Эту штуку рекламироваи по телевизору, — вспоминал он недавно. — Такой пластиковый пульт, похожий на панель от штурмовика. Он светился, а еще из него можно было стрелять дротиками. В общем, делать вид, будто ты летчик за штурвалом истребителя». Джимми зашел в аптеку, где продавались подобные игрушки, взял ее с витрины и начал крутить в руках. Продавцу это не понравилось. Он велел положить игрушку на место и выйти. Мальчику пришлось стоять у дверей на морозе, пока Мамо с Папо его не заметили и не спросили, почему он не заходит внутрь.

— Мне нельзя, — сказал Джимми отцу.

— Это еще почему?

— Просто нельзя.

— Ну-ка быстро говори, в чем дело!

Джимми указал на продавца:

— Дядя очень разозлился и выгнал меня. Поэтому заходить теперь я боюсь.

Мамо и Папо ворвались в магазин и стали орать на продавца. Тот объяснил, что Джимми играл с очень дорогой игрушкой. «Этой?» — спросил Папо, беря ее в руки. Продавец кивнул, и Папо со всех сил швырнул ее на пол. А потом начался хаос. Как рассказывал дядюшка Джимми: «Они будто сошли с ума. Папо принялся ломать другие игрушки, а Мамо — сбрасывать товар с полок и орать: “Давай сверни этому уроду шею!” Папо наклонился к продавцу и очень четко произнес: “Скажешь еще хоть слово моему сыну, и я тебя удавлю, понял?” Парень чуть не умер со страху. А мне хотелось одного — поскорее оттуда свалить». Продавец немедленно извинился, и Вэнсы ушли, как ни в чем не бывало продолжив гулять по магазинам.

Так что даже в лучшие времена Мамо и Папо приходилось несладко. Мидлтаун был для них совсем другим миром. На грубость продавцов здесь полагалось жаловаться администрации магазина. Папо надлежало ходить на работу, а Мамо — готовить ужин, стирать и воспитывать детей. Однако рукодельные кружки, пикники и коммивояжеры, торгующие пылесосами, — все это было не для женщины, которая подростком двенадцати лет чуть не застрелила человека. Ей никто не помогал с детьми, пока те были маленькими и требовали ежеминутного присмотра, поэтому времени на другие занятия просто не оставалось. Многие годы спустя она вспоминала, что в тихом пригороде Мидлтауна середины XX столетия чувствовала себя как в тюрьме. Или, если говорить ее словами, «женщинам тогда вообще приходилось хреново».

У Мамо были мечты — но не было ни малейшего шанса их исполнить. Самой большой отрадой в ее жизни оказались дети: и в прямом смысле (старость она всецело посвятила внукам), и в переносном (она смотрела по телевизору всевозможные шоу про несчастных сирот, потом выскребала из копилки последние гроши и покупала соседским бедным ребятишкам обувь или что-то для школы). Детские слезы ранили ее в самое сердце. Мамо часто говорила о том, как ненавидит людей, которые плохо обращаются с детьми. Я так и не понял: то ли над ней в свое время тоже измывались, то ли она просто сожалела о том, что ее детство слишком быстро закончилось. Наверняка в прошлом была какая-то темная история, но я, скорее всего, уже никогда ее не

узнаю.

Мамо мечтала стать юристом в сфере прав защиты детей, чтобы оберегать тех, кто не смеет сам подать голос. Однако к этой цели никогда не стремилась — возможно, поскольку не имела ни малейшего представления, как к ней подступиться. Мамо ни дня не проучилась в старшей школе. Успела родить и похоронить ребенка прежде, чем получила водительские права. Даже если бы она знала, что от нее требуется, карьера начинающего юриста никак не вписывалась в ее новый образ жизни с мужем и тремя детьми на руках.

Несмотря на неурядицы, бабушка с дедушкой свято верили в «американскую мечту» и в то, что ее можно добиться упорным трудом. Они, конечно, не испытывали иллюзий, будто происхождение и социальное положение в Америке ничего не решают. Про политиков Мамо говорила: «Все они банда воров и мошенников», но Папо был убежденным демократом. Пусть работа в «Армко» у него ладилась, он, как и прочие хиллбилли, ненавидел угольные компании Кентукки. Для Папо и Мамо не все богачи были плохими, зато у любой сволочи обязательно за душой имелся капитал. Собственно, поэтому Папо и стал демократом: эта партия защищала интересы трудящихся. Понемногу его взглядами заразилась и Мамо: все политики воруют, а если есть редкие исключения — то только среди приверженцев «Коалиции нового курса» Франклина Делано Рузвельта[8].

И все же Папо и Мамо свято верили: упорным трудом можно добиться многого. Они знали, что жизнь — это борьба и что, хотя их возможности ограничены, это еще не повод складывать руки. «Не будь тупым неудачником, не думай, что все вокруг против тебя, — повторяла бабушка. — Тебя ждет блестящее будущее, надо лишь захотеть».

Окружающие эту веру разделяли, и в 1950-е годы казалось, что на то есть все основания. За два десятилетия переселенцы-хиллбилли догнали местных жителей по уровню доходов. И все же за финансовым благополучием скрывалась их культурная беспомощность; мои бабушка с дедушкой, добившись экономической стабильности, вряд ли до конца ассимилировались в чуждой для них среде. Одной ногой они по-прежнему стояли в прошлом. Понемногу заводили новых друзей, но корнями оставались в Кентукки. Они терпеть не могли домашних питомцев и не понимали, зачем иметь дома «мелких тварей», которых нельзя употребить в пищу. Впрочем, уступив детским уговорам, все-таки заводили кошек и собак.

Их дети, однако, выросли совсем другими. Моя мать была из

поколения, которое родилось уже на индустриальном западе, вдали от гор и однокомнатных сельских школ. Эти дети ходили в обычные учебные заведения, рассчитанные на тысячу учеников. Для моих бабушки и дедушки главной целью было вырваться из Кентукки и дать детям хороший старт. Те же, в свою очередь, должны были использовать эту возможность и двигаться дальше. Увы, в реальности вышло иначе.

Прежде чем Линдон Джонсон и Аппалачская региональная комиссия[9] открыли новые трассы к юго-востоку от Кентукки, от Джексона до Огайо вел лишь один маршрут — шоссе номер 23. Эта дорога имела такое важное значение в переселении хиллбилли, что Дуайт Йоакам[10] написал о северянах песенку, где те критикуют аппалачских детей, якобы обученных лишь трем занятиям: читать, писать и кататься по двадцать третьему шоссе. Строки своей песни Дуайт Йоакам мог позаимствовать из дневника моей бабушки, где та писала:

«Они думают, что, обучившись читать, писать и кататься по двадцать третьему шоссе, добьются лучшей жизни, о которой прежде не смели и мечтать. Они не знают, что старая разбитая трасса увезет их в мир, полный боли и страданий».

Мамо и Папо удалось уехать из Кентукки, но на личном горьком опыте и на примере своих детей они убедились, что шоссе номер 23 привело их совсем не туда, куда они рассчитывали попасть.

Глава третья

У Папо и Мамо было трое детей — Джимми, Бев (моя мать) и Лори. Джимми родился в 1951 году, когда Мамо и Папо еще только привыкали к новой жизни. Они хотели большую семью, поэтому, невзирая на череду неудач и выкидышей, предпринимали все новые и новые попытки. Мамо потеряла девятерых детей. И это оставило на ее сердце глубокие шрамы. В колледже я узнал, что выкидыш может быть спровоцирован сильным стрессом, особенно на ранних сроках беременности. Порой я невольно думаю о том, сколько дядюшек и тетушек у меня могло быть, если бы не трудности тех лет, к которым добавилось еще и пьянство деда? Все же они пережили то страшное десятилетие, и в конечном счете их страдания окупились: 20 января 1961 года, в день инаугурации Джона Ф. Кеннеди, родилась моя мать, а еще через два года — тетушка Лори. На этом по каким-то своим причинам Папо и Мамо решили остановиться.

Дядюшка Джимми рассказывал о своей жизни до рождения сестер: «Мы были обычной семьей среднего класса, вполне себе счастливой. Помню, как смотрел по телевизору “Проделки Бивера”[11] и думал, что сериал прямо-таки про нас».

Тогда я просто кивнул и благополучно выкинул дядюшкины слова из головы. Однако позднее, вспоминая тот разговор, вдруг понял, что посторонним людям он показался бы бредом. Нормальные родители среднего класса, про которых снимают сериалы, не пытаются разгромить аптеки, потому что продавец нагрубил их ребенку. Для Папо и Мамо растоптать товары было обычным делом — так поступили бы любые хиллбилли ирландско-шотландского происхождения, вздумай кто обидеть их сына. Позднее дядюшка Джимми признался: «Мы были очень близки, но, как и все в нашем семействе, в один момент могли прийти в бешенство».

Какой бы лад ни царил в семье, с появлением в 1962 году второй дочери — Лори (которую я зову тетушкой Ви) — отношения стали сложнее. С середины 1960-х Папо начал пить сильнее прежнего, а Мамо замкнулась. Соседские дети предупреждали почтальона, чтобы тот держался подальше от «злой ведьмы» на Маккинли-стрит. Тот не послушал мудрого совета, и на пороге дома его встретила женщина с длинной ментоловой сигаретой в зубах, которая велела ему «свалить на хрен» с ее крыльца. В те годы еще не было слова «барахольщица», но Мамо соответствовала всем критериям этого понятия, причем

с каждым годом все сильнее. В доме копился бесполезный хлам, которому было место лишь на свалке.

Если слушать байки тех лет, возникает чувство, что Папо и Мамо жили двумя разными жизнями. Публичная — это работа, школа… Та жизнь, которую видели остальные, и со стороны она казалась вполне успешной: дедушка зарабатывал столько, что его прежним друзьям из Кентукки и не снилось; он любил свою работу и старался делать ее с душой; дети ходили в современно оборудованную школу, а бабушка следила за домом, по меркам Джексона считавшимся шикарным особняком в две тысячи квадратных футов: с четырьмя спальнями и отличной сантехникой.

Однако в стенах дома была совсем другая жизнь. «Сперва, подростком, я не замечал ничего особенного, — рассказывал дядюшка Джимми. — В таком возрасте ты обычно занят своими проблемами, и тебе ни до чего нет дела. Но все было плохо. Отец постоянно уходил из дома, мать перестала следить за хозяйством. Повсюду валялось барахло, грязная посуда… Еще они постоянно дрались. Жуткое, в общем, было время».

Культура хиллбилли превращала чувство гордости, преданность семье и причудливый сексизм в воистину взрывоопасную смесь. До замужества Мамо ее братья были готовы прирезать каждого, кто глянет на нее без должного уважения. После свадьбы ее муж переставал считаться чужаком, и они терпели любые его выходки, за которые прежде, в Джексоне, убили бы без раздумий. «Когда мамины братья приезжали, то сразу принимались вместе с отцом пить, — вспоминает дядюшка Джимми. — А потом трепались про жен. Больше всех — дядюшка Пет. Я бы и рад был не слушать про их похождения, но приходилось терпеть. Они вели себя так, как того требовали от мужчин наши традиции».

А вот Мамо чувствовала себя преданной — в ее глазах подобный треп был самым страшным грехом. Вздумай ее критиковать кто-нибудь из семьи, она ответила бы просто: «Извини, но ты меня бесишь» или «Ты знаешь, что я тебя люблю, но умоляю: заткнись и не зли меня». Однако услыхав, что про нее высказывается кто-то со стороны, она всегда слетала с катушек: «Я не знаю этих людей. Не смей обсуждать свою семью с посторонними. Слышишь? Не смей!» Мы с моей сестрой Линдси могли драться как кошка с собакой, и она практически никогда не вмешивалась в наши разборки. Но стоило мне ляпнуть кому-то из друзей, что я ненавижу сестру, как Мамо обязательно говорила при случае, когда мы оставались наедине, что мой поступок непростителен. «Как ты смеешь обсуждать свою сестру с каким-то

мелким засранцем? Через пять лет ты даже имени его не вспомнишь. А сестра у тебя останется на всю жизнь».

И вот в ее собственном доме самые близкие мужчины — муж и братья — обсуждали ее недостатки!

Папо, казалось, нарочно норовил опорочить образ типичного отца семейства среднего класса. Порой это было забавно. Он объявлял, например, что идет в магазин, спрашивал у детей, что им купить, а сам возвращался на новеньком автомобиле. Один раз на блестящем «шевроле». Через месяц — на шикарном «олдсмобиле». «У кого ты его взял?» — спрашивали мы. «Это мой, выменял», — небрежно отвечал он.

Однако порой его желание идти вопреки правилам приводило к катастрофе. Когда Папо возвращался с работы, моя мать с теткой обычно играли во дворе. Если он парковался аккуратно, все шло своим чередом: он заходил в дом, они спокойно ужинали, смеялись, подшучивали друг над другом. Однако гораздо чаще он бросал машину как попало: заезжал во двор слишком быстро, или оставлял автомобиль поперек проезжей части, или на повороте сносил фонарный столб… Тогда мама и тетушка Ви забывали про игру; они бежали в дом и говорили бабушке, что дед опять пришел пьяный. Иногда она выводила их через черный ход и просила подругу приютить девочек на ночь. А иногда они оставались дома — и тогда их ждала бессонная ночь. Однажды Папо пришел пьяным в канун Рождества и потребовал горячий ужин. Мамо отказалась ему прислуживать, тогда он выкинул елку во двор. В другой раз он заявился в самый разгар праздника, когда в доме была толпа гостей — отмечали день рождения его дочери. У всех на глазах он смачно харкнул на пол, криво улыбнулся и пошел к холодильнику за новой бутылкой пива.

Мне с трудом верилось, что наш добрый и кроткий Папо когда-то был беспробудным пьяницей. Хотя, может, так он бунтовал против нашей бешеной бабки. Мамо принципиально не брала в рот спиртного и свое возмущение выплескивала самым странным способом: она объявила мужу тайную войну. Если Папо засыпал пьяным на диване, она надрезала ему штаны ножницами, чтобы те при первом же движении лопались по шву. Или вытаскивала бумажник и прятала в духовке — просто чтобы позлить. Если Папо требовал ужин, она аккуратно сервировала полную тарелку помоев. Если же он был настроен воинственно, тоже лезла в драку. Иными словами, она старательно превращала его пьяную жизнь в ад.

Сперва Джимми не замечал, что брак родителей трещит по швам, но вскоре проблема стала очевидной. Он вспоминает про

одну драку: «Я слышал, как внизу грохочет мебель — они швыряли друг в друга стулья. И орали во всю глотку. Я спустился, попросил их замолчать. Однако они не послушались». Мамо схватила цветочную вазу, бросила ее и угодила Папо прямиком меж глаз. «Ему сильно порезало лоб, кровь так и хлынула потоком. А он сел в машину и уехал. Весь следующий день я просидел в школе как на иголках».

После очередной пьянки Мамо заявила мужу, что, если тот не бросит пить, она его убьет. Через неделю он снова заявился мертвецки пьяным и лег спать на диване. Мамо, всегда державшая слово, спокойно принесла из гаража канистру бензина, облила Папо с головы до ног, чиркнула спичкой и бросила ему на грудь. Папо вспыхнул в один миг; к счастью, их одиннадцатилетняя дочь сообразила сбить пламя. Каким-то чудесным образом он не только выжил, но даже не получил серьезных ожогов.

Будучи хиллбилли, Мамо и Папо приходилось тщательно разделять две эти разные жизни. Посторонние не должны были знать о семейных распрях, причем к категории «посторонних» относились почти все окружающие. Джимми в восемнадцать лет устроился на работу в «Армко» и съехал от родителей. Вскоре после его отъезда разразился очередной скандал. Папо замахнулся и случайно угодил Лори по лицу — вряд ли он и впрямь хотел ее ударить, но под глазом у нее остался жуткий синяк. Когда Джимми — родной брат! — через пару дней заскочил в гости, Лори велели спрятаться в подвале и не высовывать оттуда носа. Джимми больше не жил с семьей, значит, он не должен был знать и о семейных неурядицах. «Именно так мы, особенно наша Мамо, решали проблемы», — говорила тетушка Ви.

Никто так и не понял, почему Папо и Мамо оказались на грани развода. Может, всему виной был алкоголизм Папо. Может, как считает дядюшка Джимми, дед просто «сбежал» от Мамо. А может, она сама в какой-то момент сломалась — с тремя детьми на руках и памятью о мертвом младенце и десятке выкидышей. Да и как ее винить?..

Несмотря на трещащий по швам брак, Мамо и Папо всегда со сдержанным оптимизмом оценивали будущее своих детей. Они рассуждали просто: если с начальным образованием сельской школы им удалось переехать в двухэтажный особняк со всеми удобствами, то дети (и внуки) тем более попадут в колледж и сделают очередной шажок к свершению «американской мечты». Они были намного богаче, чем те, кто остался в Кентукки. Побывали у Ниагарского водопада и на побережье

Атлантического океана, хотя в детстве не ездили дальше Цинциннати. Раз это удалось им, то дети наверняка пойдут еще дальше.

Однако такие мысли во многом были очень наивны. Семейные драмы неизбежно отразились на детях — на каждом по-своему. Старшего сына, например, заставляли бросить работу на фабрике и пойти в колледж. Папо предупреждал, что если тот после школы устроится на полный оклад, то эти деньги будут сродни наркотикам: сперва они принесут радость, а потом навсегда сломают жизнь, не позволив в будущем заниматься тем, что действительно нравится. Он даже запретил упоминать о себе в анкете для «Армко», в том разделе, где надо было указать имена работающих в корпорации родственников. Особенно Папо не нравилось, что корпорация предлагает не только деньги, но и возможность убежать из дома, где твоя мать бьет вазы о голову отца.

Лори учеба давалась с трудом — прежде всего потому, что она постоянно прогуливала. Мамо даже шутила, что, если отвезти ее в школу на машине, она все равно прибежит домой первой. Во втором классе старшей школы приятель Лори раздобыл немного фенилциклидина[12], попробовать который они решили у нее дома. «Он сказал, что тяжелее меня, поэтому и доза ему полагается больше. А потом я ничего не помню». Лори очнулась в ледяной ванне, куда ее запихивали Мамо со своей подругой Кэти. Парень признаков жизни не подавал. Кэти сказала, что он не дышит. Тогда Мамо велела ей оттащить парня в парк через улицу. «Не хватало еще, чтобы он сдох у меня в доме», — заявила она. Правда затем сама вызвала «скорую», и парня отвезли в больницу, где он пять дней пролежал в реанимации.

Через год, в шестнадцать лет, Лори бросила школу и вышла замуж. И разумеется, угодила в ту же ловушку, из которой пыталась сбежать. Муж запер ее в спальне, не позволяя видеться с родными. «Я словно в тюрьму попала», — вспоминала потом тетушка Ви.

К счастью, и Джимми, и Лори удалось найти свой путь. Джимми окончил вечернюю школу и устроился в отдел продаж «Джонсон и Джонсон». Он первым в нашей семье «сделал карьеру». Лори к тридцати годам работала радиологом и нашла себе нового мужа — такого замечательного, что Мамо не раз говорила: «Если они вдруг разведутся, я уйду вслед за ним». К сожалению, печальная статистика затронула и нашу семью. Бев, моя мать, надежд не оправдала. Как и брат с сестрой, она рано ушла из дома. Делала в учебе успехи, но в восемнадцать лет забеременела и решила, что колледж подождет. После школы

вышла замуж и решила остепениться. Увы, тихая размеренная жизнь была не для нее — Бев слишком хорошо усвоила уроки детства. Когда в новом доме начались те же скандалы и драки, она подала на развод и предпочла жизнь матери-одиночки. Так в девятнадцать лет она осталась без образования, без мужа, зато с ребенком на руках — моей сестрой Линдси.

Мамо и Папо в конечном счете снова сошлись. Папо в 1983 году бросил пить, причем обошлось без постороннего вмешательства. Просто в один прекрасный день он сказал себе, что хватит. С Мамо они помирились и, хоть и продолжали жить в разных домах, каждую свободную минуту проводили вместе. Еще они пытались исправить ошибки прошлого: помогли Лори разорвать опостылевший первый брак, одолжили Бев деньги и помогали ей с ребенком. Нашли жилье, оказали поддержку, оплатили курсы медсестер… Однако самое главное, что они восполнили пробел, возникший, когда моя мать не пожелала или просто не смогла по их примеру стать хорошей родительницей. Мамо и Папо сильно подвели Бев в юности. Остаток жизни они потратили на то, чтобы загладить свою вину.

Глава четвертая

Я родился в конце лета 1984 года, за несколько месяцев до того, как Папо отдал свой голос — первый и последний раз в жизни — за республиканца Рональда Рейгана. Перетянув на свою сторону демократов Ржавого пояса, Рейган одержал самую сокрушительную победу в истории современной Америки. «Рейган мне никогда не нравился, — говорил потом Папо. — Но этого ублюдка, Мондейла, я вообще ненавидел». Оппонент Рейгана от Демократической партии, прекрасно образованный северный либерал, казался полной противоположностью моего деда-хиллбилли. У Мондейла не было ни единого шанса, и как только он ушел с политической арены, Папо больше никогда в жизни не голосовал против своей любимой «партии рабочих».

Сердце мое жило в Джексоне, штат Кентукки, но большую часть времени я проводил в Мидлтауне, Огайо. Родной город понемногу становился таким же, как тот, откуда мои бабушка с дедушкой уехали четыре десятилетия назад. Численность населения практически не менялась с тех пор, как в конце 1950-х иссяк поток мигрантов. Моя начальная школа была построена в 1930-е годы, еще до того, как бабушка и дедушка покинули Джексон, а старшая школа вообще открылась задолго до их рождения, вскоре после Первой мировой войны. Крупнейшим работодателем города по-прежнему оставалась «Армко»; и хотя на горизонте уже появились первые тучи, серьезные экономические проблемы пока обходили Мидлтаун стороной. «Мы считали, что у нас вполне неплохо, совсем как в Шейкер-Хайтсе или Аппер-Арлингтоне, — объяснял один заслуженный работник образовательной сферы, сравнивая Мидлтаун с самыми успешными городами Огайо. — Кто бы мог подумать, что здесь потом начнется дикий бардак».

Мидлтаун — старейший город в Огайо; его основали в 1800-е годы, выбрав место близ Майами-ривер, которая впадает прямиком в Огайо. В детстве мы шутили, что наш городок настолько непримечателен, что не заслужил даже нормального названия, а Мидлтауном — то есть «Средним городом» — его прозвали лишь потому, что он располагается аккурат между Цинциннати и Дейтоном (и такой «оригинальный» он не один — в нескольких милях от Мидлтауна находится Сентервилл). Мидлтаун служит ярким примером того, как развивалась индустриальная экономика Ржавого пояса. В социально-экономическом плане здесь доминирует рабочий класс. В расовом отношении много белых и темнокожих (чье появление также

вызвано процессами великой миграции), представителей же других этносов нет совсем. Что касается культуры, здешние жители очень консервативны, хотя культурный консерватизм не всегда подразумевает консерватизм политический.

Люди, с которыми я рос, мало чем отличаются от жителей Джексона. Особенно заметно это было в «Армко», где трудилось практически все население города. Его рабочая среда буквально олицетворяла собой Кентукки, откуда, собственно, и прибыли многие сотрудники. В одной книге, например, упоминается такая деталь: «Над дверью между двумя отделами висела табличка: “Вы покидаете округ Морган, добро пожаловать в округ Вулф”[11]». Казалось, что Кентукки со всеми своими конфликтующими округами так и перебрался целиком в Мидлтаун.

Ребенком я делил город на три части. Во-первых, район вокруг школы, открытой в 1969 году, к концу обучения дядюшки Джимми (даже в 2003 году Мамо называла эту школу «новой»). Здесь жили дети богачей. Большие дома перемежались ухоженными парками и офисными зданиями. Если ваш отец — врач, то почти наверняка в этом районе у него был или дом, или рабочий кабинет, или и то и другое. Мне порой снилось, что я живу в Манчестерском поместье — относительно новом жилом комплексе, возведенном в полутора километрах от школы, где недурное жилье стоило в пять раз меньше, чем приличная квартира в Сан-Франциско.

Затем шел район с бедными детьми (очень бедными), живущими близ «Армко». Здания там сами по себе были неплохими, но их поделили на крохотные квартиры, и народу в тех местах жило немерено. До недавних пор я и не знал, что тот квартал тоже делился надвое: одна половина была заселена чернокожими, другая — семьями белых рабочих.

И наконец, был район, где жили мы — там стояли дома на одну семью, а еще заброшенные склады и фабрики. Теперь, оглядываясь в прошлое, я не могу сказать наверняка, отличался ли мой район от того, где жили «нищие», или же это деление было лишь условным, потому что я не хотел считать себя бедняком.

Через дорогу от нашего дома находился Майами-Парк — единственный в городе парк с качелями, теннисным кортом, баскетбольным полем и бейсбольной площадкой. С возрастом я стал обращать внимание, что разметка на корте бледнеет, а власти перестали латать трещины и менять корзины на баскетбольной площадке. Со временем корт превратился в лысую бетонную площадку, усеянную клочьями травы. Окончательно же я убедился в упадке нашего района, когда в течение недели у нас

украли два велосипеда подряд. Как говорила Мамо, ее дети всю жизнь бросали во дворе велосипеды, не думая приковывать их тросами. Теперь же ее внуки по утрам видят, что ночью кто-то перекусил пополам толстенные цепи. Этот момент и стал для меня точкой отсчета.

Если прежде Мидлтаун менялся незаметно, то теперь новшества набирали обороты все стремительнее. Многие жители ничего не замечали: все-таки разрушение было постепенным, скорее эрозия, нежели оползень. Но если знать, куда глядеть, все было очевидно — что лишь подтверждали изумленные реплики тех, кто какое-то время отсутствовал в городе: «Глянь-ка, а дела в Мидлтауне обстоят неважнецки». В 1980-е центр города был практически образцовым: людные магазины, рестораны, открывшиеся еще до Второй мировой войны, многочисленные бары, где мужчины собирались после тяжелой смены на сталелитейном заводе пропустить кружечку-другую (а то и десяток). Из магазинов больше всего я любил местный «Кмарт», который был главной достопримечательностью торгового центра рядом с филиалом «Диллмана» — это было нечто вроде продуктового супермаркета на три или четыре отдела.

Теперь же центр стремительно пустел. «Кмарт» обезлюдел, а «Диллман» закрыл сперва крупный филиал, а потом и ряд более мелких магазинчиков. Когда я был там последний раз, от торгового центра оставался только «Арби» (дисконтный продуктовый магазин), да китайский ресторанчик. Судьбу сетевых магазинов разделяли и частные лавочки. Многие едва сводили концы с концами или вовсе снимали вывески. Двадцать лет назад в центре были две крупные торговые аллеи. Теперь же одна превратилась в парковку, а другая — в пешеходную улочку для стариков (правда пара магазинчиков там все-таки осталась).

Нынче центр Мидлтауна — не более чем пережиток былой промышленной гордости Америки. В самом сердце города, на пересечении Централ-авеню и Мэйн-стрит, красуются заброшенные магазины с разбитыми витринами. Ломбард «Ричи» давно закрыт, хотя над ним, насколько знаю, до сих пор висит жуткая желто-зеленая вывеска. Неподалеку от ломбарда прежде была старая аптека, где продавали газировку и корневое пиво. Через улицу стояло здание, похожее на театр, с огромной треугольной вывеской, где было написало «СТ…Л» с разбитыми посередине буквами, которые никогда не меняли. Если вам требовалось перехватить денег до зарплаты или получить наличку под залог ювелирных изделий — центр Мидлтауна был к вашим услугам.

Поблизости от пустых магазинов и битых витрин стоит дом

Соргов. Сорги, богатая и влиятельная семья промышленников, в конце XIX века основали в Мидлтауне крупную бумажную фабрику. Они пожертвовали городу немало денег, удостоившись взамен права разместить свои имена на стене местного оперного театра. Именно благодаря их поддержке город разросся настолько, что привлек внимание «Армко». Их дом, гигантский особняк, находится рядом с бывшей гордостью Мидлтауна — загородным клубом. Несмотря на все величие дома, его недавно приобрела пара из Мэриленда всего за 225 тысяч долларов — что вдвое дешевле небольшой приличной квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия.

Дом Соргов, фактически расположенный на Мэйн-стрит, соседствует с роскошными домами, где жили богачи в пору расцвета города. Большинство из них ныне представляет унылое зрелище, часть так и вовсе поделили на тесные квартиры для бедняков. Улица, некогда бывшая гордостью Мидлтауна, сегодня превратилась в место для сборищ наркоманов и дилеров. В темное время суток по Мэйн-стрит теперь лучше не гулять.

Все эти изменения отражают новую экономическую реальность: постоянно растущую сегрегацию по месту жительства. Количество белых рабочих, проживающих в районах с высоким уровнем бедности, с каждым годом увеличивается. В 1970-е годы в условиях нищеты жили 25 % белых детей. В 2000-х этот показатель возрос до 40 %. В наши дни наверняка он еще выше. Согласно исследованиям Бруклинского института 2011 года, «по сравнению с 2000-м, в 2005–2009 годы значительно возросло количество обитателей бедных районов, представляющих собой белых коренных жителей города, имеющих среднее образование, жилье в собственности и не получающих государственных субсидий»[12]. Иными словами, нищета воцарилась не только в городских трущобах, но и в прежде успешных пригородах.

Происходило это по разным причинам. Федеральная жилищная политика — от закона «О реинвестировании сообщества» Джимми Картера[13] до «общества собственников» Джорджа Буша-младшего[14] — активно поощряла покупку собственного жилья. Однако в Мидлтауне приобретение дома или квартиры сопряжено с большими социальными издержками: при снижении количества рабочих мест в определенном районе падает и стоимость жилья. Переехать в другое место вы не можете, потому что цены упали ниже среднерыночных и теперь вы должны банку больше, чем готовы предложить вам покупатели. Стоимость переезда столь высока, что многие жители вынуждены оставаться на месте. В ловушку, разумеется, попадают

люди с самым низким достатком, потому что те, кому позволяют средства, предпочитают уехать при первой же возможности.

Власти и общественники пытались возродить центр города. Самый постыдный результат их усилий вы увидите, если проедете по Централ-авеню до самого конца, до набережной Майами-ривер. По каким-то непостижимым мне причинам эксперты-градостроители решили превратить это чудесное место в берег озера Мидлтаун. Амбициозный проект заключался в том, чтобы высыпать в реку несколько тонн песка в надежде, что из этого получится нечто путное. Разумеется, ничего не вышло, хотя теперь посреди реки красуется грязевой остров.

Попытки возродить Мидлтаун всегда казались мне тщетными. Люди уезжали не потому, что в городе не было модных развлечений. Это здешняя культура пришла в упадок, потому что в Мидлтауне не хватало ее потребителей.

И отчего же здесь теперь нет людей, готовых платить за развлечения? Потому что прежде всего не хватает рабочих мест. Безуспешные попытки обустроить центр города стали лишь симптомом того, что происходит с его жителями и, что куда более важно, с «Армко Кавасаки стил».

«АК стил» — это результат слияния в 1989 году «Армко стил» и «Кавасаки» — японской корпорации, которая делала маленькие мощные мотоциклы («ракетницы», как мы называли их в детстве). Однако новую компанию по старой памяти так и называют «Армко», и тому есть две причины. Во-первых, потому что, по словам Мамо, «именно Армко построила наш чертов город». Она не кривила душой — многие парки и городские сооружения и впрямь возведены на средства «Армко». Руководители корпорации занимали важные посты во многих местных организациях, что помогало финансировать школы. Еще они обеспечивали стабильной работой и достойной заработной платой тысячи местных жителей вроде моего деда.

«Армко» имела хорошую репутацию благодаря грамотно выстроенной политике. «До 1950-х годов, — как писал Чед Берри в книге “Южные мигранты, северные изгнанники”, — “большой четверке” работодателей региона Майами-Вэлли — “Проктор энд Гэмбл” в Цинциннати, “Чемпион Пейпер энд Файбер” в Гамильтоне, “Армко стил” в Мидлтауне и “Нэшнл кэш реджистер” в Дейтоне — удалось наладить стабильные трудовые отношения отчасти потому, что они <…> нанимали на работу сотрудников целыми семьями. Например, в цехах Мидлтауна работало 220 выходцев из Кентукки, причем 117 из них приехали из одного округа Вулф». Пусть к 1980-м годам трудовые отношения стали более напряженными, хорошая репутация «Армко» (и прочих

предприятий тоже) сохранилась.

Другая причина, по которой корпорацию по-прежнему называли «Армко», заключалась в том, что «Кавасаки» была японской организацией, а в городе жило столько ветеранов Второй мировой войны и их потомков, что новости о слиянии были восприняты так, будто на юго-западе Огайо решил открыть магазин лично генерал Тодзё[15]. Правда недовольные лишь пошумели, да успокоились. Даже Папо, когда-то грозивший отречься от детей, если те вдруг купят японскую машину, перестал бурчать уже через пару дней. «Дело в том, что японцы теперь наши друзья, — сказал он мне. — Если нам и придется когда-нибудь снова воевать с проклятыми азиатами, то, скорее всего, против нас выступят китайцы».

Слияние с «Кавасаки» обнажило неприглядную истину: производство Америки в условиях постглобализации переживало не лучшие времена. Компаниям вроде «Армко», чтобы удержаться на рынке, приходилось искать пути для модернизации. «Кавасаки» дала шанс, без которого «Армко», скорее всего, не выжила бы.

В детстве мы с друзьями не понимали, как меняется мир. Папо вышел на пенсию, получал неплохое пособие, еще у него имелись акции компании. У «Армко» был очень красивый частный парк, лучшее место для отдыха в городе, и доступ к нему прежде всего символизировал статус: значит, твой отец (или дед) — человек уважаемый, с хорошей работой. Мне никогда не приходило в голову, что «Армко» не вечна и не всегда будет финансировать школы, возводить парки и устраивать бесплатные концерты.

И все же мало кто из моих друзей стремился там работать. Детьми мы, как и все, хотели стать космонавтами, футболистами или героями боевиков. Я, в частности, мечтал быть профессиональным выгулыциком собак, что в те годы казалось мне чрезвычайно выгодным занятием. К шестому классу мы думали стать ветеринарами, врачами, проповедниками или бизнесменами — но никак не сталеварами. Даже в начальной школе имени Рузвельта (где согласно географии города родители большинства учеников не имели высшего образования) никто не помышлял о карьере рабочего и респектабельной жизни представителя среднего класса. Мы никак не предполагали, что устроиться в «Армко» будет большой удачей; работа там воспринималась как должное.

Многие дети, видимо, считают так и сегодня. Несколько лет назад я общался с Дженнифер Макгаффи, учительницей Мидлтаунской средней школы, которая работает с молодежью из

группы риска. «Большая часть моих учеников просто не представляет, что творится за стенами привычного им мира, — сокрушалась она. — Есть дети, которые мечтают о карьере бейсбольного игрока, но в старших классах уходят из команды только потому, что им не нравится тренер. Есть те, кто учится из рук вон плохо, а когда с ними заводишь разговор о будущем, говорят, что пойдут в “АК”: мол, у них там дядя работает. Будто они не видят связи между разрухой в городе и сокращениями в “АК”». Сперва я удивился: как можно не замечать, что происходит вокруг? Ведь город меняется на глазах! Однако потом понял: этого не замечали мы, так с чего должны вдруг прозреть другие?

Для моих бабушки и дедушки «Армко» стала спасением — локомотивом, который доставил их с холмов Кентукки прямиком в средний класс. Мой дед очень любил корпорацию и знал наперечет все марки автомобилей, которые делали из продукции «Армко». Даже после того как практически все американские производители прекратили выпуск машин со стальными кузовами, Папо всякий раз оживлялся, заметив на трассе древний «форд» или «шевроле». «Эту сталь сделали в “Армко”!» — говорил он мне. Редкие случаи, когда Папо испытывал чувство подлинной гордости.

Однако невзирая на эту гордость, для меня он желал другой карьеры. «Твое поколение должно работать не руками, а головой», — сказал мне однажды Папо. Единственной подходящей для меня вакансией на заводе он считал место инженера, но никак не рабочего в сварочном цеху. Многие другие родители Мидлтауна, видимо, думали так же: «американская мечта» требовала от их потомков дальнейшего роста. Физический труд был уважаем лишь для их поколения, а дети и внуки должны были заниматься чем-то другим. Шагать дальше, двигаться вперед. А значит, идти в колледж.

Хотя если высшее образование ты не получал, в тебя никто не тыкал пальцем, скорее даже наоборот. Учителя, конечно, никогда не говорили нам, что для колледжа мы слишком тупы или бедны, однако эта мысль читалась между строк: никто из наших родителей не получал высшего образования, а старшие братья и сестры вполне довольствовались своей нынешней жизнью в Мидлтауне, не помышляя о блестящей карьере. Мы не знали ни одного человека, который окончил бы престижный колледж, зато у каждого было полно знакомых, занятых на неполную ставку или вовсе слоняющихся без работы.

В Мидлтауне 20 % учеников старшей школы не доучиваются до выпуска. Еще меньше идет потом в колледж, причем исключительно местный — никто не пытается поступить в

учебное заведение за пределами штата. Ученики просто не верят в свои силы, потому что не видят в окружении достойных примеров. Многие родители с ними согласны. Я не припомню, чтобы меня когда-либо ругали за плохие оценки, пока за мою учебу не взялась Мамо. Если мы с сестрой приносили двойки, на нас лишь махали рукой: «Да ладно, все знают, что Линдси ничего не смыслит в дробях» или «Пустяки, зато Джей Ди неплохо разбирается в цифрах, поэтому какая разница, что он завалил тест по правописанию».

Было (и есть) ощущение, что успеха добиваются только две категории людей. Первые — «счастливчики»: выходцы из богатых семей, у которых есть связи; их жизнь расписана наперед с самого рождения.

Вторые — «гении»: они родились с мозгами и даже при большом желании не могут облажаться. Представителей первой категории в Мидлтауне было мало, поэтому люди искренне считали, что любой человек, добившийся успеха, невероятно умен. В глазах среднего мидлтаунца любые усилия ничего не стоят, главное — иметь прирожденный талант.

Нет, конечно же, родители и учителя заставляли нас учиться. Они никогда не говорили вслух, что не ждут от нас больших успехов. Подобные мысли выражались не словесно, а скорее в действиях. Одна из наших соседок, например, всю жизнь получала пособие, частенько выпрашивала у бабушки машину и предлагала ей обменять продовольственные талоны на наличку с доплатой, а сама при этом рассуждала про важность труда. «Слишком многие живут за счет государства, — говорила она. — Поэтому трудолюбивые люди просто не могут получить необходимую помощь». Она выстроила в голове простую логическую цепочку: большинство бенефициаров государства — редкостные лентяи и дебилы, но сама она — не проработавшая в своей жизни ни дня — разумеется, не такая.

В местах вроде Мидлтауна только и говорят, что о работе. Пройдитесь по городу, где 30 % молодежи не работает полный день — и вы не найдете ни одного человека, который расписался бы в собственной лени. В ходе предвыборной кампании 2012 года Общественный институт религии, аналитический центр левой направленности, опубликовал результаты исследований в среде белых рабочих. Среди выводов была озвучена мысль, что представители рабочего класса работают больше, чем люди с высшим образованием. Однако этот посыл — что среднестатистический белый рабочий трудится больше образованного человека — в корне неверен[13]. Свои выводы Общественный институт религии сделал на основе результатов

опроса, то есть по сути организаторы просто обзванивали людей и интересовались их мнением[14]. Единственное, что доказывает их исследование — это что люди утверждают, будто работают больше, чем есть на самом деле.

Разумеется, бедняки работают меньше ожидаемого по разным, порой весьма сложным причинам, не стоит списывать все исключительно на лень. Многие просто не могут обеспечить себе полную занятость, потому что в «Армко», теряющей позиции в мире бизнеса, идут сокращения персонала, а в других сферах экономики их навыки не востребованы. Однако каковы бы ни были причины, несомненно одно: слова зачастую расходятся с делом.

И в этом, как и во многом другом, переселенцы ничем не отличаются от своих родственников из Аппалачей. В документальном фильме «Эйч-Би-Оу» о жителях восточного Кентукки был показан один патриарх большой семьи из Аппалачей. В своем монологе он четко описал работу, подходящую для мужчин и приемлемую для женщин. И если с «женскими» обязанностями все было очевидно, то какие именно вакансии он считал пригодными лично для себя, так и осталось неясным. Вряд ли речь шла о наемном труде, ведь, как выяснилось в итоге, этот человек не проработал в своей жизни ни дня. В конечном счете его разоблачил собственный сын: «Отец говорит, что он работал. Однако единственное, чем он занимался — это просиживал задницу. Почему бы не сказать об этом прямо, а, па? Папаша у нас был тем еще алкоголиком. Пил не просыхая, а еду в дом приносила мать. Если бы не она, мы все подохли бы с голоду»[15].

Наряду с противоречивыми представлениями о важности низкоквалифицированного труда бытовали заблуждения о том, чем должны заниматься «белые воротнички». В детстве мы не имели ни малейшего представления, что в мире — да что там, даже в нашем городе — уже ведется борьба за право встать хоть на ступеньку выше других. В первом классе каждое утро у нас начиналось с одной игры: учительница говорила число, а мы каждый по очереди приводили математический пример, на который это число было ответом. Например, если объявляли число «четыре», можно было сказать «два плюс два» и получить приз — чаще всего карамельку. Однажды объявили число «тридцать». Ученики до меня говорили простые примеры: «двадцать девять плюс один», «двадцать восемь плюс два», «пятнадцать плюс пятнадцать»… Я нетерпеливо ерзал на стуле, рассчитывая поразить всех своим интеллектом. Когда настал мой черед, я гордо выпалил: «Пятьдесят минус двадцать».

Учительница громко восхитилась моим ответом и вручила мне две карамельки за то, что я вспомнил про вычитание, которое мы начали изучать буквально на предыдущем уроке. Однако не успел я погреться в лучах славы, как уже через минуту кто-то в классе произнес: «Трижды десять!» Я вообще не понял, что это. Как это — «трижды»? О чем вообще речь?!

Учительница восхитилась громче прежнего, и мой соперник получил не две, а целых три карамельки. Она в двух словах рассказала про умножение и спросила, кто еще в классе знает о таком математическом действии. Руки никто не поднял.

Я был морально растоптан. Домой вернулся весь в слезах. Наверное, причина моего невежества в том, думал я, что мне не хватает ума. Иными словами, я чувствовал себя тупым.

Не моя вина, конечно, что до того дня я никогда не слышал слово «умножение». В школе нас этому не учили, а дома, разумеется, мы не решали математические задачки. Но для маленького ребенка, который хотел преуспеть в учебе, это был сокрушительный провал. Своим незрелым мозгом я не сознавал разницы между знанием и интеллектом. Поэтому счел себя идиотом.

Однако когда я пожаловался Папо, тот сумел обратить этот промах мне на пользу. Еще до ужина я обучился и умножению, и делению. Следующие два года мы с дедом раз в неделю занимались математикой, за успехи вознаграждая себя мороженым. Если что-то не получалось сразу, я вновь винил себя и, признавая поражение, тут же бросал задачу. Папо, дав мне немного похныкать, приходил на помощь. Мамо была не сильна в математике, зато она, едва я научился читать, отвела меня в городскую библиотеку и объяснила, как пользоваться читательским билетом, проследив потом, чтобы дома всегда были детские книги.

Иными словами, какие бы испытания ни подстерегали меня в окружающем мире, дома я всегда получал поддержку. Наверное, это меня и спасло.

Глава пятая

Скорее всего, не я один плохо помню себя в возрасте до шести-семи лет. Помню, как в четыре года залез на обеденный стол, объявил себя Невероятным Халком и прыгнул, долбанув головой стену, в надежде ее проломить (увы, стена оказалась крепче).

Еще помню, как меня тайком пронесли в больницу, чтобы попрощаться с дядюшкой Тиберри. И как сидел у Мамо Блантон на коленях: она до самого рассвета читала мне библейские притчи, а я дергал колючие усы у нее над губой и спрашивал, зачем Бог дал старушкам волосы на лице. Помню, как объяснял миссис Гидорн, что меня зовут Джей Ди: «Джей точка, Д, точка». Еще как Джо Монтана в Супербоуле вырвал победу у команды «Бенгалс»[16]. И тот теплый сентябрьский день, когда мама с Линдси, забрав меня из детского сада, объявили, что я больше никогда не увижу отца. Он отказался от родительских прав, сказали они. Мне никогда в жизни не было так грустно.

Мой отец, Дон Бауман, был вторым мужем матери. Они поженились в 1983 году и расстались, когда я был еще совсем крохой. Через пару лет после развода мать снова вышла замуж. Отец же, когда мне исполнилось шесть, написал отказ от родительских прав и на несколько лет исчез из моей жизни. Я плохо помню время, что мы прожили вместе. Помню, что отец любил горы и пастбища Кентукки. Еще он любил арсиколу[17] и говорил с ярко выраженным южным акцентом. Много пил, но бросил после того, как вступил в пятидесятническое братство[18]. Мне казалось, он меня любит, поэтому я был дико расстроен, узнав от матери и Мамо, что больше ему не нужен. У него появилась новая жена, двое маленьких детей — я исчез из его жизни.

Моего отчима и будущего приемного отца звали Боб Хамел, и на вид он был славным парнем. Боб всегда хорошо относился ко мне и Линдси. Правда Мамо его невзлюбила. «Тупой беззубый урод», — говорила она. Видимо, ее смущало происхождение Боба. Мамо с юности прикладывала титанические усилия, чтобы сделать жизнь лучше. Пусть богатой она так и не стала, но ей хотелось дать детям образование, найти им перспективную работу и выдать дочерей замуж за достойных представителей среднего класса. А Боб был типичным хиллбилли. Рос практически без отца и, как и он, бросил двоих родных детей. Они жили в Гамильтоне, всего в десяти милях южнее Мидлтауна, но он никогда их не навещал. Половина его зубов сгнила,

оставшиеся почернели и стали кривыми от любви к сладкой газировке и нелюбви к стоматологам. Всю жизнь, с юных лет, он работал дальнобойщиком.

Больше всего Мамо раздражало, что Боб был точной ее копией. Она, видимо, понимала то, что сам я осознаю лишь двадцать лет спустя: социальный класс в Америке — это не только деньги, но и окружение. Бабушка стремилась обеспечить детям достойное будущее, интуиция подсказывала, что этот человек не годится ее детям или внукам в спутники жизни.

Когда Боб официально меня усыновил, мать сменила мне имя: с Джеймс Дональд Бауман на Джеймс Дэвид Хамел. Меня назвали в честь отца, и мать постаралась стереть любое упоминание о нем. Первую букву пришлось оставить, потому что к тому времени меня уже прозвали «Джей Ди». Мать сказала, что новое имя мне дали в честь дядюшки Дэвида, ее старшего брата — того самого любителя покурить травку. Даже в шесть лет это показалось мне странным. Скорее всего, она выбрала имя наугад: любое, лишь бы не Дональд.

Сперва наша новая жизнь с Бобом была похожа на сюжет семейного сериала. Они с мамой неплохо ладили. Купили дом в паре кварталов от бабушки (буквально в двух шагах: если у нас были заняты обе ванные или мне хотелось перекусить, я оправлялся к Мамо в гости). Мать устроилась на работу в больницу, а Боб неплохо зарабатывал, так что деньги у нас водились. Вместе с бабулей и новым отцом мы стали полноценной семьей: пусть странной, но вполне счастливой.

Жизнь текла предсказуемо: утром я шел в школу, потом возвращался домой и обедал. Почти каждый день ходил к Мамо и Папо. Дед курил на крылечке, и я сидел и слушал его брюзжание: он ругал то политиков, то профсоюзы сталелитейщиков. Когда я научился читать, мать купила мне первую книгу — «Хулиган из космоса»[19]. Читать мне нравилось, решать математические задачки с Папо — тоже. Еще нравилось, как искренне и громко мать радуется любым моим успехам.

С матерью нас сближало многое: например, любовь к футболу. Я запоем читал каждую, даже самую крохотную заметку про Джо Монтану, лучшего квотербека всех времен; смотрел матчи, писал фанатские письма в «Фортинайнтез», а потом и в «Чифз», его новую команду. Мамо нашла в библиотеке книгу по футбольной стратегии, и мы соорудили из бумаги и монеток модель футбольного поля, где пенни были вместо защитников, а никели[20] и даймы[21] нападавшими.

Мать хотела, чтобы я не только знал правила игры — она стремилась научить меня тактике. На нашем бумажном поле мы

разыгрывали различные комбинации: что будет, если форвард (блестящий никель) вдруг промахнется? Или что делать квотербеку (дайму), если все ресиверы (другие даймы) вне игры? Шахмат у нас не было, вместо них был футбол.

Как никто другой в нашей семье, мать хотела, чтобы мы умели общаться с людьми самого разного круга. Один из ее приятелей по имени Скотт был геем (она как-то обмолвилась, что он внезапно умер). Еще она заставила меня посмотреть фильм про Райана Уайта[22] мальчика, который в моем возрасте заразился СПИДом во время переливания крови, а потом затеял судебную тяжбу за право вернуться в школу. Каждый раз, когда я жаловался на учебу, мать напоминала мне про Уайта и говорила, какое это благо — получать образование. История Райана так ее поразила, что после смерти юноши в 1990 году она написала его матери письмо.

Мать всегда верила в святость образования. Сама она училась неплохо, но в колледж поступать не стала, потому что родила Линдси через несколько недель после выпускного. Потом она все-таки получила диплом медсестры. Пошла работать, когда мне было семь или восемь лет. Я, наверное, тоже внес свой вклад в ее обучение, я всегда послушно подставлял ей свои руки, когда она училась брать кровь из вены.

Порой мамин интерес к моей учебе превращался в настоящую одержимость. В третьем классе она помогала мне с одним научным проектом: подсказывала, как распланировать работу, как собрать материал и как его оформить. Вечером накануне сдачи проект выглядел как надо — криво слепленной бестолковой работой школьника. Я лег спать, рассчитывая сдать проект и с чистой совестью про него забыть. При некоторой доле везения я мог бы попасть в следующий этап конкурса. Однако утром выяснилось, что за ночь мать все переделала. Проект теперь выглядел так, будто к его созданию приложили руки художники и ученые. Судьи, конечно, пришли в восторг, но когда мне стали задавать вопросы, а ответить я не сумел (хотя как автор работы должен был знать все нюансы), они быстро поняли, в чем дело. Разумеется, в финал конкурса я не попал.

Этот случай научил меня, что надо самому делать свою работу, а еще дал понять, как трепетно мать относится к моим успехам. Ее безмерно радовало, когда я заканчивал читать одну книгу и просил другую. Все вокруг твердили, что моя мать — умнейший человек на свете. И я в это верил. Она и впрямь была очень умна.

На юго-западе Огайо времен моей юности мы учились ценить верность, честь и стойкость. Я впервые разбил нос в пять лет,

заработал синяк под глазом в шесть. Каждая драка начиналась с того, что кто-то неодобрительно высказывался в адрес моей матери. Шутки про мать у нас считались недопустимыми, а про бабушку так и вовсе заслуживали самого страшного наказания, на которое только способны детские кулаки. Мамо и Папо объяснили мне основные правила боя: никогда не лезть в драку первым, всегда доводить ее до конца, а еще бить противника, если тот оскорбляет твою семью. Последнее правило было негласным, но его знали все. Линдси начала встречаться с парнем по имени Деррик; парень бросил ее уже через несколько дней. В свои тринадцать лет она была убита горем, поэтому я решил при случае потолковать с Дерриком. Он был на пять лет старше и на тридцать пять фунтов тяжелее, но меня это не остановило. Я набросился и начал дубасить его кулаками. Сперва он меня отталкивал, но на третьей минуте ему надоело, и он от души меня отколошматил. Весь в слезах и крови я побрел к Мамо, а она лишь улыбнулась: «Молодец, мальчик мой. Ты умничка!»

Драться — как и многому другому — Мамо учила меня на живом примере. Она никогда не поднимала на меня руки (бабушка всегда была против порки; видимо, вспоминая собственное детство). Но когда я спросил, каково это — когда тебя бьют по лицу, она просто взяла и хлестко ударила меня ладонью по щеке. «Вот видишь, не так уж страшно». Так я усвоил важнейшее правило драки: не умеешь бить в морду — не начинай. Другой бабушкин совет — стой к противнику боком, левым плечом, подняв руки, потому что в таком случае «в тебя труднее попасть». Третье правило — бить всем телом, усиливая удар мышцами бедер. Если умеешь драться, размер кулака не так уж важен.

Несмотря на все предостережения не лезть в драку первым, наш негласный кодекс чести то и дело заставлял меня вступать в бой. Если ты хотел с кем-то сцепиться, достаточно было сказать что-нибудь обидное про мать своего врага. Самообладание моментально исчезало после дерзкого выпада. «Твоя мамаша такая жирная, что ее заднице пора присвоить отдельный почтовый адрес». «У твоей мамаши сгнили даже вставные челюсти». Иногда достаточно было начать: «Твоя мамаша…» — и начиналась схватка. Простить обидчику оскорбление — значит потерять честь, достоинство и друзей. Все равно что прийти домой и сказать родным, что ты их опозорил.

Спустя несколько лет бабушка почему-то изменила свое отношение к дракам. Я тогда учился в третьем классе, меня только что избили, и я лелеял планы мести. Однако Мамо неожиданно вмешалась, не позволив нам с противником снова

выйти на поле боя. Она строго спросила, отчего я забыл ее урок: в драке нужно только защищаться. Я не знал, что и ответить — она ведь сама несколько лет назад похвалила меня за драку! Напомнил ей о том случае с Линдси, а она внезапно ответила: «Я была неправа. Ты не должен драться без лишней нужды». Я очень удивился. Мамо никогда не признавала ошибок!

На следующий год я стал свидетелем школьной травли: один хулиган постоянно издевался над странным мальчишкой. Меня школьная шпана обходила стороной: видимо, помнили о прежних моих боевых заслугах. Однако в один прекрасный день тот тип начал доводить мальчишку до слез, а я вдруг испытал странное желание заступиться за беднягу. Уж очень жалким он выглядел, особенно по сравнению с тем громилой.

Тем вечером я рассказал о нем Мамо. Отчего-то мне было стыдно, что я так и не набрался смелости выступить в его защиту — просто сидел и слушал, как тот гаденыш над ним измывается. Мамо спросила, знает ли про травлю учительница. Я ответил, что да. «Тогда эту сучку надо отправить в тюрьму: сидит себе и ничего не делает!» А потом бабуля произнесла слова, которые я не забуду никогда в жизни: «Иногда, мальчик мой, драться надо, даже если нападают не на тебя. Иногда это просто необходимо. Завтра ты заступишься за мальчика, и если надо, сделаешь вот так». Она показала мне один прием: короткий быстрый удар в живот («не забудь правильно поставить ноги!»): «Если он на тебя замахнется, бей первым прямо в пупок».

На следующий день я очень нервничал и надеялся, что парень прогуляет занятия. Увы, все шло по обычному сценарию: когда в столовую хлынул народ, обидчик — его звали Крис — подошел к своей жертве и с ухмылкой спросил, будет ли тот сегодня опять хныкать. «Заткнись! — велел я. — Хватит к нему цепляться!» Крис толкнул меня и спросил, какое мне дело. Я шагнул навстречу, развернулся боком и ударил его в живот. Парень упал на колени и в ужасе захрипел, он не мог сделать вдох. Я понял, что, пожалуй, перестарался, но тут он закашлял и сплюнул немного крови.

Криса отправили к школьной медсестре, а я, убедившись, что все-таки его не убил (поэтому тюрьма пока мне не грозит), стал гадать, чем все это закончится: отстранят ли меня от занятий или сразу исключат? Пока другие школьники играли на перемене, а Криса приводили в чувство, я сидел в кабинете с учительницей. Думал, она позвонит матери и велит ей забирать меня и мои документы, но она просто строго отчитала меня и заставила много раз написать на доске, что я больше никогда не буду драться. Мне показалось, что она втайне одобрила мой поступок.

Я часто думал, отчего сама она так и не приструнила хулигана. Может, ей запрещала школьная политика? Так или иначе, Мамо тем вечером похвалила меня и сказала, что я совершил по-настоящему геройский поступок. С тех пор в уличные драки я не ввязывался.

Постепенно я сознавал, что жизнь не так уж прекрасна и моя семья ничем не отличается от своего окружения. Мои родители не раз ссорились, родители друзей — тоже. Воспитанием занимались в основном бабушка и дедушка, но так было принято у хиллбилли. Мы жили не в тихом узком кругу ближайшей родни — нас всегда окружали многочисленные родственники: дядюшки, тетушки, двоюродные братья с сестрами… И рос я, пожалуй, счастливым ребенком.

Однако к девяти годам обстановка в доме стала напряженнее. Мать с Бобом решили переехать подальше от Папо и Мамо, которые слишком уж лезли в их жизнь. Они выбрали округ Прейбл, безлюдный фермерский уголок Огайо в тридцати пяти милях от Мидлтауна. Даже ребенком я понимал, что происходит ужасное. Папо и Мамо были моими лучшими друзьями. Они помогали мне с домашним заданием и угощали всякими лакомствами за хорошие поступки. А еще они были моими защитниками. Бабушка с дедушкой — парочка закоренелых хиллбилли — всегда держали заряженный пистолет в кармане куртки или под сиденьем машины. С ними мне не был страшен никакой монстр.

Моя мать не ужилась и с Бобом, третьим своим мужем. Они начали ссориться еще до переезда в округ Прейбл, и ночами я частенько засыпал под их крики.

Такие слова не должны звучать в адрес родных и близких: «Ты меня задолбал!», «Вали на хрен в свой трейлерный парк» — так орала мама, напоминая Бобу о его прежней жизни до свадьбы. Иногда она вытаскивала нас из кроватей и отвозила в отель на несколько дней, пока Папо и Мамо не заставляли ее помириться с мужем.

Мать унаследовала от бабушки вспыльчивый нрав. Кроме того, порой она могла устроить скандал едва ли не на пустом месте. Был случай во время футбольного матча, когда одна женщина вполголоса возмутилась, почему мне засчитали бросок. Мать, сидевшая в соседнем ряду, услышала ее слова и громко заявила: потому что я, в отличие от ее сына, не толстый боров, воспитанный жирной уродиной. Когда я разглядел, что на трибунах творится неладное, мать уже вцепилась соседке в волосы, а Боб их разнимал. После игры я спросил у мамы, в чем дело, и та сказала: «Никто не смеет критиковать моего

мальчика!» Мне было очень приятно.

В округе Прейбл, в сорока пяти минутах езды от Папо и Мамо, скандалы были в порядке вещей. Зачастую они начинались из-за денег, хотя общий доход нашей семьи был более ста тысяч долларов, что в Огайо вполне хватало на жизнь. Однако мать с Бобом постоянно что-то покупали: машины, фургоны, бассейны… К тому времени, когда их короткий брак распался, они увязли в многотысячных долгах, которые нечем было выплачивать.

Долги были не главной нашей бедой. Мама и Боб никогда прежде не поднимали друг на друга руки, но постепенно все изменилось. Однажды ночью я проснулся от звона битого стекла — мать швыряла в Боба тарелки.

Я спустился по лестнице посмотреть, что происходит. Боб прижимал ее к кухонной стойке, а мать вырывалась и пинала его ногами. Потом она упала, я подбежал к ней и встал рядом на колени. Боб шагнул было к нам, а я вскочил и изо всех сил ударил его по лицу. Он замахнулся в ответ, я съежился и прикрыл голову руками. Однако Боб не стал меня бить, он вообще-то не был агрессивным человеком. Он молча сел на диван и уставился на стену, а мы с мамой, восприняв это как сигнал к окончанию ссоры, тихонько поднялись по лестнице и легли спать.

Благодаря маминым скандалам я получил первый урок решения семейных конфликтов. Вот что нужно делать, чтобы уладить ссору: никогда не пытайся поговорить с партнером спокойно, лучше сразу кричи; если скандал не утихает, можно махать кулаками; выражай свои чувства как можно обиднее и оскорбительнее; если ничего не помогает, бери детей и собаку и увози их в первый попавшийся отель, ни за что не признаваясь супругу, где вас искать — пусть поволнуется.

Я стал хуже учиться. Ночами лежал в кровати и не мог уснуть от грохота мебели, топота, криков и звона битого стекла. Утром кое-как разлеплял глаза и устало слонялся по школе, думая лишь о том, что ждет меня дома. Хотелось одного — немного побыть в тишине. Рассказать кому-то о происходящем я не смел, стыдился. Я терпеть не мог школу, но дом теперь ненавидел еще сильнее. Когда учитель объявлял, что до конца занятий осталось несколько минут, скоро звонок и пора собирать учебники, у меня замирало сердце. На часы я смотрел как на бомбу. Даже Мамо не понимала, насколько все плохо. Первым сигналом стали мои оценки.

Конечно, ссоры случались не каждый день. Но даже если дома на первый взгляд царил мир и покой, обстановка все равно была накалена до предела, и я каждую минуту ждал подвоха. Мама с Бобом больше не улыбались друг другу и мне с Линдси. Любое неосторожное слово могло превратить тихий семейный

ужин в отвратительную ссору; стоило что-то сделать не так, как тарелка или книга летели через всю комнату. Мы жили словно на минном поле: один неверный шаг — и тебе конец.

Прежде я был здоровым и развитым ребенком. Занимался спортом и, не следя за своим рационом, лишним весом не страдал. Теперь же я начал прибавлять в весе и к пятому классу разжирел до неприличия. Начались проблемы со здоровьем, я часто жаловался школьной медсестре на сильные рези в животе. Так сказывалась моя семейная обстановка. «Учащиеся начальных классов могут проявлять признаки стресса в виде жалоб на соматические симптомы, такие как мигрени или боли в животе, — говорится на одном из ресурсов для школьных сотрудников, которые занимаются жертвами домашнего насилия. — У детей могут наблюдаться изменения в поведении, например, повышенная раздражительность, агрессия и гнев. Их поступки могут быть противоречивы. У этих детей также наблюдается общее снижение успеваемости, падение концентрации и внимания. Возможны прогулы». Не знаю, отчего у меня тогда болел живот — от частых запоров или от ненависти к своему новому дому.

Скандалы в среде хиллбилли были делом обычным. Не могу перечислить все стычки и драки, свидетелем которых я стал. Например, мы с приятелем однажды играли во дворе, как вдруг раздались дикие вопли его родителей; мы убежали и спрятались. Соседи у Папо орали так громко, что их было слышно даже сквозь запертые окна, он еще все время повторял: «Черт возьми, опять за свое взялись». Как-то раз на моих глазах молодая пара в китайском ресторанчике принялась спорить из-за какого-то пустяка и в итоге перешла на ужасную брань. Оскорбления, вопли, а порой и драки были частью нашей жизни. Спустя какое-то время их перестаешь замечать.

Я думал, что взрослые всегда так общаются. Однако когда Лори вышла замуж за Дэна, я узнал, что есть как минимум одно исключение. Мамо говорила, что Дэн и тетушка Ви никогда не ругаются, потому что Дэн не такой, как все: «Он святой». Затем мы познакомились с родными Дэна, и оказалось, что они тоже относятся друг к другу иначе. Они никогда не ссорились на людях. Более того, складывалось впечатление, что наедине они не ссорятся тоже. Я решил, они притворяются. Тетушка Ви думала иначе. «Я считала, что они просто странные. Они ведь и правда жили душа в душу. А раз так — значит, и впрямь чудики».

Жизнь в условиях бесконечного конфликта рано или поздно берет свое. Даже сейчас при мыслях о том времени меня бросает в дрожь, тревожно бьется сердце, к горлу подкатывает ком…

Ребенком же мне хотелось только одного — спрятаться, убежать к Мамо или просто исчезнуть. Увы, деваться было некуда, потому что скандалы окружали меня повсюду. Со временем я их даже полюбил. Вместо того чтобы прятаться, я прикладывал ухо к двери, чтобы лучше слышать. Сердце по-прежнему судорожно билось — но уже не в страхе, а в волнении, как перед решающим броском в матче. Даже в том скандале, который чуть было не перерос в драку — когда Боб на меня замахнулся, — я вовсе не стремился проявить отвагу, просто в неудачный момент выскочил на поле боя. То, что я ненавидел, стало в итоге моим наркотиком.

Однажды, возвращаясь домой из школы, я заметил у нашего крыльца бабушкин автомобиль. Это был тревожный знак — она никогда не приезжала без предупреждения. В тот день она решила сделать исключение лишь потому, что мать попала в больницу после неудачной попытки самоубийства. Несмотря на все что творилось вокруг меня, в свои одиннадцать я многого еще не замечал. Выяснилось, что на работе мать познакомилась с одним пожарным и у них завязался роман. Тем утром Боб узнал об измене и потребовал развода. Мать села в новенький минивэн и разбила его о ближайший столб. По крайней мере, так она сказала. Мамо думала иначе. Она решила, что мать тем самым пытается вызвать к себе жалость: «Хочет покончить с собой — отлично! Пусть попросит у меня ружье».

Поверив Мамо, мы с Линдси с облегчением перевели дух: выходка матери (она, кстати, отделалась легкими ушибами) означала, что наш эксперимент с переездом в округ Прейбл наверняка подходит к концу. Через пару дней мать выписали. Еще через месяц мы вернулись в Мидлтаун уже без Боба и поселились рядом с Мамо — еще ближе, чем прежде, буквально в соседнем квартале.

Мать стала совершенно непредсказуемой и ударилась во все тяжкие. Она превратилась для нас в соседку по квартире. Я ложился вечером спать, а около полуночи просыпался, потому что возвращалась домой Линдси, как и все подростки, гуляющая допоздна. Потом в два или три часа ночи снова подскакивал от шума: домой приходила мать. Она завела новых подружек, в основном молодых бездетных девчонок. Каждые несколько недель она меняла мужиков. Мой лучший друг называл их «ухажерами месяца». Я с раннего детства привык, что мать немного неуравновешенная, но прежде было проще и понятнее: назревал очередной скандал, и мы либо убегали, либо мать срывала на нас зло: могла в сердцах шлепнуть или дать пощечину. Мне, конечно, это не нравилось, но ее новое поведение и вовсе вводило в полный ступор. Несмотря на все свои недостатки, мать никогда

не любила шумные вечеринки. Теперь же, когда мы вернулись в Мидлтаун, она стала заядлой тусовщицей.

С вечеринками в доме появился алкоголь, и ее поведение стало еще более странным. Однажды, когда мне было лет двенадцать, мать сказала что-то, не помню даже, что именно, но я убежал из дома и как был, босиком, направился к Мамо. Следующие два дня я мать избегал, наотрез отказывался встретиться. Помирить нас удалось только Папо — он убедил обоих, что надо все-таки поговорить.

Поэтому я, наверное, в тысячный уже раз выслушал ее извинения. Мать умела извиняться. Если бы она не просила у нас с Линдси прощения, мы бы с ней вообще не разговаривали. Возможно, она и впрямь сожалела о своей вспыльчивости. В глубине души она чувствовала перед нами вину и, наверное, даже верила, что «такого больше не повторится». Хотя, разумеется, скоро опять бралась за старое.

В этот раз все было, как всегда. Мать буквально умоляла ее простить, потому что в тот раз провинилась сильнее обычного. Чтобы замолить свой грех, она предложила свозить меня в торговый центр и купить новые футбольные карточки. Футбольные карточки были моим фетишем, я согласился. И наверное, совершил тогда величайшую ошибку в своей жизни.

Мы выехали на трассу, и я вдруг сказал что-то такое, отчего мать рассвирепела. Она разогнала автомобиль до бешеной скорости, наверное миль сто в час, и сказала, что сейчас врежется куда-нибудь и мы оба умрем. Я переполз на заднее сиденье, пытаясь пристегнуться двумя ремнями безопасности разом: может, хоть тогда выживу? Это привело мать в еще большее бешенство, и она остановила машину, чтобы хорошенько меня отлупить. Не дожидаясь расправы, я выскочил и со всех ног бросился бежать. Вокруг были одни поля; я мчался, трава больно хлестала меня по ногам. К счастью, удалось выбежать к какому-то домику с бассейном, где, наслаждаясь теплым июньским деньком, плюхалась в воде хозяйка — толстая тетка маминых лет.

«На помощь! Скорей! Позвоните бабуле! — закричал я. — Мама хочет меня убить!» Пока женщина выползала из воды, я испуганно озирался во все стороны: вдруг из кустов сейчас выскочит мать? Мы зашли в дом, позвонили Мамо, я рассказал ей все и назвал адрес. «Только скорее, прошу! — рыдал я в трубку. — А то мама меня найдет».

Увы, я угадал: мать нашла меня первой. Должно быть, видела, в какую сторону я побежал. Она стала колотить по двери и требовала, чтобы я немедленно вышел. Я умолял хозяйку ее не впускать. Та задвинула засов и пригрозила спустить собак (двух

мелких шавок размером с кошку). Однако мать ударом вынесла дверь и выволокла меня из дома. Я с криком цеплялся за все подряд — за дверные косяки, перила на крыльце, кусты, а та женщина стояла на пороге и просто смотрела, даже не пытаясь прийти мне на помощь. Как же я ее ненавидел!

Хотя все-таки она меня спасла, потому что после разговора с Мамо успела позвонить в службу спасения. Поэтому пока мать запихивала меня в машину, подъехала полиция, нацепила на мать наручники. Она так брыкалась, что двоим крепким полицейским не сразу удалось ее скрутить и увезти.

Меня усадили в салон второго автомобиля, и мы стали ждать Мамо. Было ужасно тоскливо и одиноко. Я смотрел сквозь стекло, как полицейский опрашивает хозяйку дома — та не успела даже снять мокрый купальник. Наверное, я задремал, потому что дверь вдруг распахнулась, и на сиденье залезла Линдси; она прижала меня к груди так крепко, что затрещали ребра. Мы не плакали и не говорили друг другу ни слова. Просто сидели, обнявшись, и радовались, что наконец-то все закончилось.

Когда мы вышли из машины, Мамо и Папо тоже меня обняли и спросили, цел ли я? Бабушка принялась искать у меня ушибы, а дед в это время говорил с полицейским. Линдси не отходила от нас ни на шаг. Это был страшный день.

Мы вернулись домой. На разговоры не было сил. Мамо тихо кипела от ярости. Я надеялся, что она хоть немного успокоится к тому моменту, когда мать выпустят из участка. Я совершенно выбился из сил и мечтал лишь об одном — лечь на диван и тупо уставиться в телевизор. Линдси ушла к себе в спальню. Дед взял из холодильника еду и собрался уходить. На полпути к дверям он вдруг остановился и посмотрел на меня. Мамо как раз вышла из комнаты. Папо подошел, положил руку мне на голову и вдруг зарыдал. Это было жутко. Я никогда не видел, чтоб дедушка плакал. Так он просидел какое-то время, потом мы услышали бабушкины шаги. Дед тут же взял себя в руки, вытер глаза и уехал. Больше мы с ним никогда об этом не говорили.

Мать выпустили под залог, выдвинув ей обвинение в семейном насилии. Приговор целиком и полностью зависел от моих показаний. И все же на слушаниях, когда меня спросили, угрожала ли мне мать расправой, я ответил «нет». Причина была проста: бабушка с дедушкой отвалили кучу денег за самого опытного в городе адвоката. Как бы они ни злились на мать, отправлять дочь за решетку им не хотелось. Адвокат объяснил мне, что от моих слов зависит срок, который мать проведет в заключении. «Ты же не хочешь, чтобы твоя мать попала в тюрьму?» — спросил он. Поэтому я солгал: мы договорились, что,

даже если ее выпустят, я при желании смогу жить с бабушкой и дедушкой. Официально моим опекуном оставалась мать, но в ее доме я буду появляться исключительно по своему усмотрению. Бабушка обещала, что если мать вдруг будет против, то свои претензии может высказать в дуло ее ружья. Решение было в духе хиллбилли и всех нас полностью устраивало.

Помню, как сидел в зале суда, где собралось с полдесятка других семей, и думал, до чего же все они на нас похожи. Матери, отцы, бабушки и дедушки, в отличие от адвокатов и судей, не носили костюмов. Они были одеты в спортивные трико и футболки. Еще у всех немного кудрявились волосы. Тогда я впервые заметил так называемый «телевизионный акцент» — очень четкое произношение, характерное для ведущих из новостей.

С таким же «телевизионным акцентом» говорили социальные работники, адвокаты и судьи. Но не люди по другую сторону трибуны. Те, кто распоряжался нашими судьбами, выглядели непривычно. Люди, которые сидели рядом с нами, были такими же, как мы.

Самобытность — довольно странная вещь, и в то время я еще не понимал, отчего чувствую с этими незнакомцами такое родство. Впрочем, все немного прояснилось несколько месяцев спустя, во время поездки в Калифорнию. Дядюшка Джимми пригласил нас с Линдси к себе домой, в Напу. Я немедленно растрезвонил друзьям, что летом еду в Калифорнию — причем впервые полечу самолетом! Мне никто не поверил: откуда у моего дядюшки деньги, чтобы купить два билета аж до другого побережья — еще и чужим детям? Вот очередное свидетельство классового сознания — все мои друзья в первую очередь подумали о стоимости перелета.

Я же был рад возможности слетать на запад и навестить дядюшку — человека, которого я боготворил наравне с двоюродными дедами, мужчинами Блантон. Несмотря на ранний вылет, все шесть часов от Цинциннати до Сан-Франциско я не смыкал глаз. Дух захватывало от того, как съеживалась земля при взлете, от облаков вблизи, от размеров неба и очертаний гор в стратосфере. Стюардесса заметила мой восторг и, когда мы пролетали над Колорадо, пригласила меня в кабину к пилотам (это было еще до 11 сентября), и те вкратце объяснили, как управлять самолетом.

Я и прежде покидал границы штата: мы с бабушкой и дедушкой ездили в Южную Каролину и Техас, бывали в Кентукки. Однако в тех поездках мне редко доводилось общаться с кем-то из посторонних, и я не замечал особой разницы. Напа же словно

была другим государством. В Калифорнии нас с моими двоюродными братьями и сестрами каждый день ждали новые приключения. Один раз моя старшая кузина Рейчел отвезла нас в Кастро[23] чтобы я вживую посмотрел на гомосексуалистов и не шарахался от них в испуге, что ко мне станут приставать. Потом мы посетили винодельню. Еще побывали на футбольной тренировке у нашего двоюродного брата Нэйта в старшей школе. В общем, от новых впечатлений просто замирало сердце!

Отчего-то каждый, кого я встречал, думал, что я родом из Кентукки. Люди считали мой акцент забавным, и мне это нравилось. В общем, я понял, что Калифорния сильно отличается от других мест. Я бывал в Питтсбурге, Кливленде, Колумбусе и Лексингтоне. Провел немало времени в Южной Каролине, Кентукки, Теннесси и даже в Арканзасе. Так почему же Калифорния совсем другая?

Вскоре я догадался, что причиной тому — шоссе, по которому Мамо и Папо прибыли с востока Кентукки на юго-запад Огайо. Невзирая на топографические особенности и разницу региональной экономики Юга и промышленного Среднего Запада, прежде мои перемещения ограничивались регионом, где жили люди вроде моей семьи. Мы ели одни и те же блюда, болели за одни и те же команды, исповедовали одну и ту же религию. Поэтому и люди в зале суда казались мне родными: все они, как и я, были переселенцами-хиллбилли.

Глава шестая

Я терпеть не мог, когда взрослые задают свой любимый вопрос: есть ли у меня братья и сестры? В детстве нельзя просто отмахнуться, сказать: «Ой, там все сложно» — и сменить тему, а искусно обманывать умеют лишь прирожденные социопаты. Поэтому я послушно говорил правду, заводя людей в густые дебри наших семейных отношений, к которым сам давно привык. Если считать только биологических родственников, то у меня были сводные брат и сестра, которых я никогда не видел, потому что мой родной отец отказался от родительских прав. По другой классификации братьев и сестер было гораздо больше, если считать детей маминого нынешнего мужа — при Бобе, в частности, их было двое. Кроме того, у новой жены моего биологического отца были свои дети, которых, наверное, тоже стоило посчитать. Иногда я принимался рассуждать философски: что значит «брат» или «сестра»? Дети бывших мужей твоей матери все еще связаны с тобой родством? Если да, то как тогда быть с будущими детьми бывших мужей? В общем, по некоторым меркам количество братьев и сестер у меня переваливало за десяток.

Однако лишь одного человека я считал по-настоящему родным — Линдси. Если надо было кому-то ее представить, я всегда с важным видом добавлял: «моя родная сестра Линдси» или «моя старшая сестра Линдси». Я безмерно гордился нашими близкими родственными узами. Самый худший день моей жизни — когда я узнал, что вопреки моим чувствам Линдси мне не родная сестра, а сводная; такая же, как те люди, которых я никогда не знал, потому что у нас разные отцы. Бабушка упомянула об этом вскользь, когда я выходил из ванной, а я разрыдался во весь голос, совсем как в тот день, когда умерла наша собака. Успокоился лишь после того, как Мамо пообещала больше никогда не называть Линдси моей «сводной» сестрой.

Линдси Ли старше меня на пять лет; она родилась через два месяца после того, как мать окончила школу. Я ее обожал. Многие дети боготворят старших братьев или сестер, но в наших условиях все было куда серьезнее. То, как она геройски заступалась за меня, достойно эпических баллад. Однажды мы с ней поссорились из-за пачки печенья, и мать высадила меня на пустой парковке, чтобы показать моей сестре, какой будет ее жизнь без младшего брата, а та закатила такую истерику, что матери волей-неволей пришлось за мной вернуться. Когда мама скандалила с очередным мужем, именно Линдси прокрадывалась

ко мне в спальню, чтобы позвонить Мамо и Папо и позвать их на помощь. Она кормила меня, когда я был голоден, меняла мокрые подгузники и повсюду таскала с собой, не спуская с рук — хотя, по словам Мамо и тетушки Ви, младенцем я был весьма увесистым.

Я всегда считал Линдси взрослой. Она не устраивала истерик по пустякам, не хлопала обиженно дверьми. Когда мать работала допоздна, Линдси готовила нам ужин. Я, разумеется, раздражал ее, как и все младшие братья, но она никогда не кричала на меня, не била и не запугивала. В один довольно-таки постыдный период своей жизни я начал с нею драться, не помню даже из-за чего. Мне тогда было лет десять-одиннадцать, а ей — пятнадцать, и я быстро понял, что превосхожу ее физической силой, однако по-прежнему не считал Линдси ребенком. Она была выше детских проблем, «единственный по-настоящему взрослый человек в доме», как говорил про нее Папо. Моя главная защитница! Она готовила обед, если в доме не было еды, стирала грязное белье. И именно она забрала меня тогда с заднего сиденья патрульной машины… Я настолько зависел от Линдси, что не видел в ней той, кем она была на самом деле — юной девочки, которой по возрасту не полагались даже водительские права и которая вынуждена была стоять не только за себя, но и за младшего брата.

Все стало меняться в тот день, когда родные решили дать Линдси шанс исполнить ее детскую мечту. Линдси всегда была очень красива. Когда мы с друзьями перечисляли самых красивых девушек планеты, я ставил ее выше Деми Мур и Памелы Андерсон. Линдси узнала, что в отеле «Дейтон» будет проходить модельный кастинг, и мы вчетвером — Линдси, я, мать и Мамо — сели в бабушкин «бьюик» и двинулись на север. Линдси умирала от волнения, и я тоже. Это ведь будет звездный час не только для нее, но и для всей нашей семьи!

Мы приехали в отель, какая-то женщина велела нам следовать по указателям в большой зал и ждать своей очереди. Зал был оформлен совершенно безвкусно, в стиле 70-х годов: уродливый ковер, гигантские люстры и так мало света, что мы спотыкались на каждом шагу. Я еще думал, как агенты разглядят в моей сестре красавицу? Здесь же темно, хоть глаз выколи!

Наконец настал наш черед, и агент весьма оптимистично оценил внешние данные моей сестры. Он сказал, что она довольно милая, и предложил ей пройти в следующий зал. А потом вдруг добавил, что у меня тоже модельная внешность, и спросил, не хочу ли я присоединиться к сестре? Я радостно согласился.

После недолгого ожидания мы с Линдси и другими кандидатами узнали, что прошли в следующий тур и нас ждет еще один кастинг, уже в Нью-Йорке. Сотрудники агентства раздали брошюры с дополнительной информацией и сказали, что надо явиться на собеседование в течение ближайших нескольких недель. По пути домой мы с Линдси пребывали в полном восторге. Мы поедем в Нью-Йорк и прославимся на весь мир!

Поездка в Нью-Йорк стоила немало, и, наверное, если бы из нас и впрямь хотели сделать моделей, то агентство само оплатило бы нам дорогу. Сегодня я понимаю, что тот беглый кастинг (каждому претенденту задавали буквально пару вопросов, не более) был скорее аферой, нежели реальным поиском талантов. Хотя наверняка говорить не могу, все-таки я далек от модельного бизнеса.

Могу сказать лишь одно — наша радость долго не продлилась. Мать стала вслух подсчитывать стоимость поездки, и мы с Линдси затеяли спор, кто из нас двоих должен все-таки ехать (разумеется, я — как младший). Мать начала сердиться, прикрикнула на нас. Что было дальше, догадаться легко: громкие крики, визг тормозов и вставшая поперек обочины машина с рыдающими взахлеб детьми на заднем сиденье. Слава богу, вовремя вмешалась Мамо, но даже с нею мы не разбились лишь сущим чудом: мать, ведя машину на полной скорости, попыталась из-за руля дотянуться до нас и угомонить затрещинами, а Мамо принялась орать на нее с пассажирского кресла и наотмашь хлестать ладонями. Именно поэтому мать остановила машину — она просто не могла разорваться между нами троими. Простояли мы там довольно долго и тронулись в путь в полной тишине — после того как Мамо велела нашей матери успокоиться, иначе она ее пристрелит. Ночевать в тот вечер мы остались у бабушки.

Никогда не забуду лица Линдси в тот момент, когда она поднималась в спальню. То была мучительная гримаса человека, который в считаные минуты испытал неожиданный взлет и сокрушительное падение. Совсем недавно она стояла на пороге исполнения сокровенной мечты — и вот осталась обычной девчонкой с разбитым сердцем. Мамо ушла к себе на диван смотреть «Закон и порядок» и читать Библию. А я встал в узком коридорчике, отделявшем гостиную от кухни, и вдруг задал Мамо вопрос, который вертелся у меня в голове с тех самых пор, как она велела матери доставить нас домой в целости и сохранности. Я знал, что она скажет в ответ, но, наверное, просто хотел утешения. «Мамо, а Бог вообще нас любит?» — спросил я. А она опустила голову, обняла меня и заплакала.

Мой вопрос сильно задел ее, потому что христианская вера

была главным стержнем всей нашей жизни. В церковь мы не ходили, разве что иногда, когда бывали на службах в Кентукки или мать вдруг решала приобщить нас к религии. И все же Мамо была глубоко верующим человеком (хоть и на свой весьма причудливый манер). Об «организованной религии» она говорила с глубочайшим презрением, а в церкви видела лишь питательную почву, взращивающую извращенцев и ростовщиков. Еще она терпеть не могла тех, кого называла «крикливыми верунами» — людей, которые выставляют веру напоказ, всячески подчеркивая свое благочестие. И все же часть своих личных доходов Мамо охотно жертвовала церквушкам Джексона, особенно той, где заправлял Дональд Айсон, пожилой джентльмен, удивительно похожий на священника из «Изгоняющего дьявола».

По словам Мамо, Бог никогда нас не покидает. Он празднует с нами наши успехи и утешает в скорби. Во время одной из поездок в Кентукки Мамо заехала на заправку, при выезде не обратила внимания на знаки, и мы оказались на дороге с односторонним движением, с трудом, под брань водителей, лавируя между встречными машинами. Я затрясся от ужаса, но Мамо, лихо развернувшись на оживленной трассе через три полосы, сказала только одно: «Все хорошо, милый. Разве ты не знаешь, что с нами в машине Господь?»

Бесхитростное богословие, которое она проповедовала, всегда дарило мне утешение. Чтобы добиться в этой жизни успеха, надо развивать дарованный Богом талант и прикладывать немало усилий. Я должен заботиться о родных, потому что того требует от меня христианский долг. Всегда нужно прощать: не только ради мамы, но и ради самого себя. Еще никогда нельзя отчаиваться, потому что у Бога на все свой замысел.

Мамо часто рассказывала любимую притчу. Один человек сидел дома, как вдруг начался страшный ливень. Через несколько часов дом стало заливать водой, и проезжавшие мимо люди предложили человеку поехать с ними. Тот отказался от помощи, сказав: «Меня спасет Бог». Прошло еще несколько часов, вода затопила первый этаж. Мимо проплывала лодка, и капитан предложил мужчине отвезти его в безопасное место. Тот отказался, сказав: «Меня спасет Бог». Потом, когда мужчина уже сидел на крыше, потому что вода залила весь дом, мимо пролетал вертолет, и пилот предложил мужчине отвезти его на сушу. И снова тот отказался, заявив, что его спасет Бог. В конце концов мужчина утонул и, представ перед Богом на небесах, начал роптать: «Ты обещал спасти меня, если я буду хранить Тебе веру». А Бог ответил: «Я прислал тебе в помощь машину, лодку и вертолет. А погиб ты по собственной вине». Бог помогает лишь

тем, кто сам печется о своей судьбе. Так гласило бабушкино Евангелие.

Падший мир, описанный в Библии, удивительным образом походил на окружавшие меня реалии: мир, где счастливая поездка на машине могла в один миг обернуться скандалом и разбитыми надеждами; мир, где поступки одного человека сказываются на всей семье и обществе в целом. Когда я спросил у Мамо, любит ли нас Бог, я хотел услышать, что в религии все еще можно найти объяснение происходящему в этом мире. Мне надо было убедиться, что есть высшее правосудие и в хаосе и беспорядке имеется своя система, свой ритм.

Вскоре после того случая мы с Мамо были в Джексоне, в гостях у моей кузины Гейл. На дворе стояло второе августа, мой день рождения. Ближе к вечеру Мамо предложила мне позвонить Бобу: юридически тот все еще считался моим отцом, хоть и давно не подавал о себе вестей. После нашего возвращения в Мидлтаун они с матерью развелись, поэтому неудивительно, что он редко выходил на связь. Однако мой день рождения, несомненно, был весомым поводом для того, чтобы перекинуться хоть словом, и мне показалось странным, что Боб не звонит. Я позвонил сам и попал на автоответчик. Потом набрал номер еще раз, спустя несколько часов — с тем же результатом. Подсознательно я понял, что Боба больше никогда не увижу и не услышу.

Гейл, то ли огорчившись за меня, то ли просто решив сделать приятное, предложила съездить в местный зоомагазин, где на продажу выставили щенков немецкой овчарки. Я ужасно захотел себе щенка, и подаренных денег хватило бы на покупку. Однако Гейл напомнила, что с собаками очень много возни и что в моей семье (читайте: у моей матери) водится дурная привычка заводить питомцев, а потом выкидывать их на улицу. Я остался глух к увещеваниям — «Да, конечно, Гейл, но они ведь такие милые», — и ей пришлось надавить авторитетом: «Прости, милый, все-таки собаку мы тебе купить не можем». Когда мы вернулись домой, я был совершенно удручен, причем из-за собаки расстроился гораздо сильнее, чем из-за разлуки с очередным отцом.

Меня огорчала не столько пропажа Боба, сколько та путаница, которую вызвал его уход. Сам он был лишь очередной тенью в длинной веренице наших «отцов». После него пришел Стив, тихий молчаливый парень. Я молился, чтобы мать вышла за него замуж: он был славным и неплохо зарабатывал. Но она его бросила и сошлась с Чипом, местным полицейским. Чип по натуре оказался типичным хиллбилли: обожал дешевое пиво, музыку кантри и рыбалку. Мы неплохо ладили… Увы, вскоре и он

нас покинул.

Хуже всего то, что развод с Бобом еще больше запутал нас с фамилиями. Линдси унаследовала фамилию родного отца, Льюис; мать всякий раз брала имя очередного мужа; Мамо и Папо были Вэнсами, а братья Мамо — Блантонами. Моя же фамилия теперь не имела никакого отношения к близким мне людям, и после ухода Боба приходилось неловко объяснять, почему меня зовут Джей Ди Хамел. «Да, Хамел — так зовут моего отца. Вы его не знаете. Я и сам уже целую вечность его не видал. Понятия не имею, где он».

В детстве больше всего я ненавидел именно эту нескончаемую череду «отцов». К маминой чести надо сказать, что она избегала скорых на расправу грубиянов и никто из мужчин, которых она приводила в дом, не поднимал на нас руки. Я ненавидел сами перемены. Терпеть не мог, что эти парни исчезают из моей жизни, стоит только к ним привязаться. Линдси в силу своих лет и природной мудрости воспринимала каждого нового «отца» со здоровой долей скепсиса. Она знала, что каждый из них рано или поздно уйдет. После исчезновения Боба этот урок усвоил и я.

Приглашая мужчин в нашу жизнь, мать руководствовалась благородными мотивами. Она часто спрашивала у нас, «хорошим ли отцом» стал Чип, или Боб, или Стив. Она говорила: «Он будет брать тебя на рыбалку, здорово же?» или «В твои годы очень важно иметь перед глазами пример достойного мужчины». Когда я слышал, как она кричит на очередного мужа, или рыдает на полу в результате сокрушительной ссоры, или мается после развода, я испытывал страшное чувство вины, что все это — из-за меня. В конце концов, на роль отца вполне годился и наш Папо. После каждого разрыва я обещал матери, что все будет хорошо, что мы справимся и что (повторяя слова Мамо) нам вовсе «не нужны эти чертовы мужланы». Ясно, что мать была не столь уж самоотверженна, она (как и все мы) просто искала любви и тепла. Но при этом она заботилась и о нас.

Однако благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Насмотревшись на разных кандидатов в отцы, мы с Линдси так и не узнали, как мужчина должен обращаться с женщиной. Чип научил меня вязать рыболовные крючки, а вот как быть мужчиной, я так и не понял: глушить кружками пиво и орать на жену, когда та осыпает тебя упреками? Я вынес единственный урок: на других полагаться нельзя. «Я знаю, что любой мужчина испарится в два счета, — сказала однажды Линдси. — На детей им плевать, на все остальное тоже. Избавиться от надоевшего мужика легче легкого».

Наверное, мать чувствовала, что Боб сожалел о своем решении взвалить на себя воспитание чужого ребенка, поэтому однажды позвала меня в гостиную и поинтересовалась, не хочу ли я позвонить Дону Бауману, моему биологическому отцу. Разговор вышел коротким, но весьма запоминающимся. Он спросил, помню ли я, как мечтал обзавестись собственной фермой с лошадьми, коровами и цыплятами, и я ответил: «Да». Потом спросил, помню ли я сводных брата с сестрой, Кори и Челси, и я, помявшись немного, сказал: «Вроде как». И наконец, он спросил, хочу ли я с ним повидаться.

Я мало что знал о своем биологическом отце и плохо помнил жизнь до того момента, как меня усыновил Боб. Я знал, что Дон бросил меня, потому что не хотел платить алименты (точнее, так говорила мать). Знал, что он женился на женщине по имени Черил, что он очень высокий и многие считают, будто я на него похож. А еще я знал, что он «чокнутый святоша» — так Мамо называла истово верующих христиан, которые, как она говорила, «орут в церкви и бьются в судорогах, точно их жалят змеи». Это пробудило во мне интерес: после краткого экскурса в религию я очень хотел познакомиться с церковными обычаями поближе. Поэтому я спросил у матери разрешения на встречу, она согласилась, и вскоре после того как я потерял приемного отца, в мою жизнь вернулся отец биологический.

Выяснилось, что у Дона Баумана гораздо больше общего с матерью, чем я думал. Его отец (и мой дед), Дон Си Бауман, также перебрался на юго-запад Огайо из Кентукки. Обзаведясь семьей, дед внезапно умер, оставив молодую жену с двумя маленькими детьми на руках. Бабка снова вышла замуж, и мой отец большую часть своего детства провел в Кентукки у ее родителей.

Отец, как никто другой, понимал, что значит для меня Кентукки. Мать родила его в совсем юном возрасте, и хотя ее второй муж оказался человеком неплохим, он был очень суровым и нелюдимым (впрочем, к пасынкам вообще мало кто испытывает искреннюю приязнь). В Кентукки, на его зеленых просторах, среди родных, отец мог расслабиться и быть собой. И я — тоже. Людей я делил на два типа: тех, к кому я тянулся и пытался впечатлить, и тех, кого избегал, испытывая рядом с ними неловкость. К последней категории относились все посторонние, а в Кентукки посторонних не было.

В каком-то отношении отец постарался воссоздать вокруг себя ту атмосферу, которая окружала его в детстве. Он купил небольшой дом с участком земли в четырнадцать акров. Там был пруд с рыбой, пастбище для коров и лошадей, сарай и курятник.

Каждое утро дети собирали свежие яйца — обычно семь или восемь штук, как раз хватало на семью из пяти человек. Днями напролет мы носились вокруг дома наперегонки с собакой, ловили лягушек, гоняли кроликов — в общем, развлекались совсем как в Кентукки.

Помню, я бежал по полю в компании отцовского колли по кличке Дэнни, красивого лохматого пса, такого ласкового, что однажды он поймал крольчонка и притащил его в зубах, даже не поцарапав зверька. Не знаю, почему мы бежали, но я вдруг споткнулся, упал в траву, Дэнни плюхнулся рядом, положил голову мне на грудь, а я уставился в голубое небо. Никогда в жизни я не испытывал такого умиротворения, как в тот день.

Отец всегда был на редкость спокоен. Они с женой, конечно, порой спорили, но не говорили на повышенных тонах и не осыпали друг друга ругательствами, как было принято у нас дома. Никто из их друзей не употреблял алкоголь. Хотя Дон и Черил верили в пользу телесных наказаний, этой мерой воспитания они не злоупотребляли — если и пороли, то за дело и не со зла, не опускаясь до словесных оскорблений. Мои младшие брат с сестрой росли вполне довольными жизнью, пусть и без поп-музыки и современных блокбастеров.

Все, что я прежде знал об отце, приходило из вторых рук. Мамо, тетушка Ви, Линдси и мать говорили одно: он — редкостный негодяй. Много ругался и избивал маму. Линдси как-то сказала, что у меня в младенчестве была непропорционально большая голова; она считала, это из-за того, что отец во время беременности сильно толкнул мать. Однако сам он всячески отрицал, что когда-либо поднимал руку на человека, особенно на мою мать. Я подозреваю, что драки у них все-таки были, но ограничивались парой затрещин и разбитой посудой. Наверняка известно лишь одно: после развода с матерью и до женитьбы на Черил (мне тогда было четыре года) отец заметно изменился к лучшему. Он объяснял эти перемены обращением к Господу.

Тем самым отец стал живым воплощением феномена, который ученые-социологи наблюдали на протяжении многих десятилетий: верующие люди становятся более счастливыми. Прихожане, регулярно посещающие церковь, реже совершают преступления, они здоровее, могут похвастать большей продолжительностью жизни, неплохо зарабатывают, реже бросают школу и чаще оканчивают колледж[16]. Экономист из Массачусетского технологического института, Джонатан Грубер, даже заметил причинно-следственную связь: дело не только в том, что успешные люди часто обращаются к религии, сама церковь прививает прихожанам хорошие привычки.

В целом отец жил как типичный консервативно настроенный протестант с южными корнями, хотя этот стереотип во многом неточен. К категории «набожных» скорее можно отнести нашу Мамо — человека верующего, но не привязанного к какой-либо конкретной религиозной общине. В общем, единственными консервативными протестантами, регулярно посещающими церковь[17], которых я знал, были родные моего отца. В Ржавом поясе в церковь ходить не принято[18].

Несмотря на репутацию, в Аппалачах — особенно в северной Алабаме, Джорджии и южном Огайо — прихожан гораздо меньше, чем на Среднем Западе, между Мичиганом и Монтаной. Как ни странно, все мы уверены, что ходим в церковь гораздо чаще, чем есть на самом деле. По результатам недавнего опроса Института Гэллапа[24] и у южан, и у обитателей Среднего Запада оказываются самые высокие показатели посещения церкви в стране. Однако в реальности на Юге верующих значительно меньше.

Этот самообман — очередное свидетельство культурного давления. На юго-западе Огайо, где я родился, а также в Цинциннати и Дейтоне очень низкие показатели посещаемости церкви — примерно такие же, как в ультралиберальном Сан-Франциско. Однако в Сан-Франциско, насколько мне известно, никто не стыдится говорить, что не ходит в церковь (более того, многие стесняются признать, что на самом деле там все-таки бывают). В Огайо — наоборот. Даже ребенком я лгал, утверждая, будто регулярно хожу на службы. И по данным Института Гэллапа, я такой не один.

Это сравнение вызывает ужас, ведь по идее религиозные организации должны оказывать людям поддержку; тем не менее в той части страны, которая сильнее всего страдает от упадка производства, безработицы, наркозависимости и разводов, посещаемость церквей стремительно падает.

Отцовская церковь предлагала поддержку, в которой отчаянно нуждались люди вроде меня. Алкоголикам она подставляла дружеское плечо и дарила ощущение, что со своей зависимостью они борются не в одиночку. Будущим матерям давала крышу над головой и бесплатные курсы. Если кому-то требовалась работа, в церкви могли подыскать хорошую вакансию или дать рекомендации. Когда у отца начались финансовые проблемы, прихожане скинулись и купили семье подержанный автомобиль. В том извращенном мире, который меня окружал, религия протягивала руку помощи, не давая верующим свернуть с намеченного пути.

Отцовская вера меня увлекла, хотя я быстро понял, что

именно она сыграла решающую роль в его решении отказаться от родительских прав. Мне нравилось проводить с отцом время, но я по-прежнему чувствовал себя преданным, и мы часто обсуждали, почему же так вышло. Впервые я услышал его версию событий: что алименты были ни при чем и отец от меня не «отказался», как утверждали мать и бабушка, напротив — нанял целую армию адвокатов, чтобы меня удержать.

Однако он испугался, что борьба за опеку плохо скажется на моей психике. Когда он приходил ко мне после развода, я всякий раз забивался под кровать, опасаясь, что меня заберут и я больше никогда не увижу Мамо. Видя сына таким испуганным, отец сменил тактику. Мамо невзлюбила его сразу после женитьбы, когда он показал себя не с лучшей стороны. Поэтому, когда он приходил к нам, Мамо встречала его на крыльце с заряженным дробовиком наперевес и не мигая смотрела прямо в глаза. Поговорив с детским судебным психиатром, отец узнал, что я стал плохо вести себя в детском саду и у меня появились симптомы эмоциональных проблем. (Это чистая правда: после нескольких недель в саду меня забрали оттуда на год. Двадцать лет спустя я встретил свою первую воспитательницу. По ее словам, я был таким отвратительным воспитанником, что она проработала в саду всего три недели и навсегда ушла из профессии. Тот факт, что она вспомнила меня спустя столько времени, говорит явно не в мою пользу.)

В конце концов отец попросил Господа дать ему три знака, что усыновление пойдет мне во благо. Видимо, он эти знаки получил, потому что я стал законным сыном Боба Хамела — абсолютно постороннего мне человека. Я не сомневаюсь в искренности отца, но, хоть и сочувствую его сложному выбору, мне несколько не по себе от мысли, что судьбу своего ребенка он решал, руководствуясь подсказкой Господа.

Впрочем, я понял, что прежде всего он заботился обо мне, и это немного сгладило былую обиду. В целом я любил и своего отца, и братство, в которое он меня привел. Не знаю точно, привлекала ли меня сама церковь или мне просто хотелось стать к отцу как можно ближе (скорее всего, и то и другое); так или иначе, я обратился в религию. Запоем читал книги по креационизму[25] и затевал в онлайн-чатах споры с приверженцами научной теории эволюции. Узнал о пророчествах тысячелетия и убедил себя, что миру придет конец в 2007 году. Даже выбросил свои диски с песнями «Блэк Саббат». Папина церковь это поощряла, потому что ставила под сомнение мудрость светской науки и мораль светской музыки.

Несмотря на то что юридически мы с отцом были чужими

людьми, я стал проводить с ним много времени. Я бывал у него на праздниках и ездил в гости каждые выходные. Так моя жизнь опять разделилась надвое.

Отец сторонился маминой родни, а те в свою очередь избегали его. Линдси и Мамо были рады, что у меня появился близкий человек, но обе по-прежнему ему не доверяли. Мамо называла его «донором спермы» и напоминала, что он бросил меня в самый критичный момент. Хоть я и сам обижался на отца, бабушкино упрямство все только усложняло.

Как бы там ни было, мы с отцом становились все ближе — и с его церковью тоже. У его вероисповедания был лишь один изъян — оно способствовало изоляции от прочего внешнего мира. В доме отца я не мог слушать Эрика Клэйтона: не потому что в его песнях звучали какие-то непристойности, а потому что Эрик Клэйтон находился под влиянием демонических сил. Наверняка вы знаете шутливую байку, что если сыграть песню группы «Лед Зеппелин» «Лестница на небеса» наоборот, то получится злое заклинание, — так вот, прихожане отцовской церкви считали этот миф чистейшей правдой!

Сперва все их требования я принимал за правила, которые надо соблюдать — или аккуратно обходить стороной. Я был очень любопытным ребенком, и чем глубже увязал в евангельском богословии, тем острее испытывал недоверие ко многим устоям нашего общества. Эволюция и теория Большого взрыва стали для меня не научно обоснованными истинами, а поводом для ожесточенных споров. Во многих проповедях, что я слышал, яростно критиковались другие христиане. В бесчисленных теологических баталиях противоположную сторону обвиняли не только в неверном толковании Библии, но и в том, что они вовсе не христиане. Я всегда восхищался дядюшкой Дэном, однако когда он обмолвился, что католики принимают теорию эволюции, мой восторг несколько угас. Новая вера вынуждала искать в своем окружении еретиков. Друзья, интерпретировавшие Библию иначе, чем я, теперь «оказывали на меня дурное влияние». Даже Мамо упала в моих глазах, потому что при всей своей набожности поддерживала Билла Клинтона.

Подросток, который впервые задумался о серьезных вещах — чему и кому можно верить, — я остро испытывал чувство, будто вокруг «истинных» христиан сжимаются тиски. Повсюду ходили разговоры о «войне с Рождеством», которые, насколько могу судить, были спровоцированы активистами АСГС, предъявлявшими мелким городам иски за рождественские декорации[26]. Я залпом проглотил книгу Дэвида Лимбо[27] «Преследование», где шла речь о всяческих гонениях на

современных христиан. В Интернете наперебой обсуждали нью-йоркские художественные показы, где выставляли статуи Иисуса и Девы Марии, измазанные экскрементами… В общем, впервые в жизни я ощущал себя представителем гонимого меньшинства.

Разговоры о «недостаточно верующих» христианах, об атеистах, сбивающих с праведного пути молодежь, о художественных выставках, оскорбляющих религию, создавали впечатление, что окружающий мир страшен и чужд. Взять, к примеру, права гомосексуалистов — самую острую тему среди консервативных протестантов. Никогда не забуду тот день, когда убедил себя, будто я гей. Мне было тогда лет восемь или девять, а может, еще меньше, и я случайно увидел по телевизору шоу одного проповедника. Тот утверждал, что гомосексуалисты — олицетворение зла, что они обманом проникли в наше общество и все обречены на вечные адские муки без надежды на раскаяние и спасение. О геях в то время я знал лишь одно: они предпочитают не женщин, а мужчин. Под это описание прекрасно подходил я сам, ведь девчонки мне совсем не нравились, а самым близким моим другом был парень по имени Билл. О нет, я буду гореть в адском пламени!

Я поделился страхами с Мамо: признался, что я гей и меня ждут адские муки. «Не будь идиотом! С чего ты взял, что ты гомик?» — спросила она. Я пояснил, как пришел к такому заключению. Мамо захохотала, потом задумалась, как же объяснить столь деликатную тему мальчику моих лет. «Джей Ди, тебе хочется сосать член?» — спросила она наконец. Я ужаснулся. Как, зачем?! Она повторила вопрос, и я решительно ответил: «Нет, конечно!» «Значит, ты не гей. Но даже если тебе захочется сосать член, ничего страшного. Иисус все равно тебя любит». На этом тема была закрыта. Видимо, переживать из-за того, что я гей, больше не стоило. С годами я осознал истинное значение ее слов: гомосексуалисты, конечно, те еще чудики, однако их существование нам ничем не грозит; и вообще, у христиан есть более важные заботы.

С другой стороны, в моей новой церкви больше говорили о гей-лобби и «войне с Рождеством», чем обсуждали качества, коими должен обладать истинный христианин. Тот разговор с Мамо я оценивал как пример светского мышления, а не акт христианской любви. Нравственность определялась очень просто — надо отвергать любые социальные недуги: геев, теорию эволюции, либерализм Клинтона, внебрачные сексуальные отношения… Папина церковь практически ничего от меня не требовала. Быть христианином оказалось очень просто. Единственные позитивные учения, которые продвигала наша

церковь — это что я не должен прелюбодействовать и что надо проповедовать Евангелие другим. Поэтому я твердо решил хранить верность будущей жене и обращать в свою веру каждого встречного (включая нашего учителя естествознания в седьмом классе — мусульманина по рождению).

Мир качнулся в сторону морального разрушения — в сторону Гоморры. Время Восхищения Церкви[28], думали мы. Апокалиптические образы окружали меня повсюду: в проповедях и в книгах (особенно в цикле «Оставленные»[29], самой продаваемой книжной серии всех времен, которую я проглотил буквально залпом).

Люди обсуждали, явился ли уже Антихрист и, если да, под маской кого из мировых лидеров он скрывается. Кто-то сказал мне однажды, что я наверняка женюсь на очень красивой девушке, если к тому времени на землю не сойдет сам Господь. Конец света казался логичным исходом для культуры, стремительно летящей в пропасть.

Многие авторы подмечают падение числа прихожан в евангельских церквях и объясняют это снижение излишним радикализмом в проповедях[19]. Ребенком я этого не понимал. Еще я не понимал, что религиозные воззрения, которые прорастали во мне в первые годы после примирения с отцом, потом вынудят меня отречься от христианской веры. Я знал лишь одно: несмотря на все недостатки, мне нравилась и моя новая церковь, и человек, который меня в нее привел. Время было выбрано идеально: скоро я испытал острую нужду в поддержке и духовной, и материальной.

Глава седьмая

Когда мне исполнилось тринадцать лет, мать познакомилась с Мэттом, молодым парнем из местной пожарной бригады. Мэтт очаровал меня с первой же встречи и понравился гораздо больше всех прочих маминых мужчин; мы до сих пор иногда с ним общаемся.

Как-то вечером я сидел дома, смотрел телевизор и ждал, когда вернется мать и принесет из «Ки-Эф-Си» наш ужин. После этого мне предстояло найти Линдси (вдруг она голодна?) и отнести еду Мамо. Однако бабушка позвонила сама: «Где твоя мать?» «Не знаю. А что, бабуль?»

Ее ответ навсегда отпечатался у меня в памяти. Мамо была взволнована, даже напугана. Прорезался деревенский говор, который она всегда тщательно скрывала. «Папо пропал. Его весь день никто не видел». Я обещал, что позвоню, как только вернется мать — она должна была прийти с минуты на минуту.

Сперва я решил, что Мамо драматизирует. Однако потом вспомнил, что Папо живет по давно заведенному расписанию. Он просыпается каждое утро в шесть часов, причем без будильника, к семи идет в «Макдоналдс», чтобы выпить кофе со старыми приятелями из «Армко». Проболтав с ними пару часов, отправляется к Мамо и остаток утра проводит у нее: за игрой в карты или на диване перед телевизором. Потом после обеда может ненадолго сходить в хозяйственный магазин к своему приятелю Полу, но как бы там ни было, к моему возвращению из школы он ждет меня на веранде. Если же из школы я захожу к матери (что случалось довольно редко), он всегда заглядывает пожелать мне доброй ночи и только потом идет к себе.

Раз Папо вдруг нарушил заведенный распорядок, значит, и впрямь случилось что-то серьезное!

Мать пришла буквально через несколько минут после бабушкиного звонка, и к тому времени я уже рыдал во весь голос: «Папо… Папо… Боюсь, он умер!» Остальное было как в тумане: я кое-как рассказал ей, в чем дело, мы торопливо заскочили за бабушкой и помчались к Папо (он жил в нескольких минутах езды). Я заколотил в дверь, а мать побежала к черному ходу и вдруг крикнула, что видит Папо в кресле. Она схватила камень, разбила стекло, распахнула дверь и бросилась к отцу.

К тому моменту он был мертв почти сутки.

Мать и бабушка, безудержно рыдая, вызвали «скорую». Я хотел обнять Мамо, но она меня не замечала. Потом неожиданно перестала плакать, прижала к груди и велела попрощаться с

Папо, пока его не забрали. Я шагнул было в дом, однако фельдшер, который стоял на коленях возле тела, свирепо глянул на меня, будто решил, что я пришел из любопытства поглазеть на мертвеца. Я так и не сказал ему, зачем подходил.

Когда деда увезли, мы поехали к тетушке Ви. Мать, видимо, уже позвонила ей, потому что та вся в слезах встретила нас на крыльце.

Мы обнялись, втиснулись в машину и поехали к Мамо. Мне поручили непростое дело: найти Линдси и сообщить ей страшную весть. Сотовых тогда еще не было, и Линдси в свои семнадцать лет могла быть где угодно. На домашний телефон она не отвечала, ее друзья — тоже.

Мамо жила в одном квартале от нашего дома — в триста тринадцатом доме по Маккинли-стрит, а мы в триста третьем, — поэтому одним ухом я слушал разговоры взрослых, а сам высматривал в окно сестру. Они тем временем обсуждали похороны. «Только в Джексоне, черт возьми! — настаивала Мамо. — И кто-нибудь позвоните уже Джиму, пусть едет домой».

Линдси вернулась около полуночи. И замерла, увидев мое зареванное лицо, все красное и в пятнах от слез. «Папо умер», — выдавил я. Сестра упала, где стояла; я подбежал к ней и обнял. Мы сели прямо там, на лестнице, и расплакались, как двое детей, только что потерявших самого близкого человека на свете. Линдси что-то выдавила сквозь слезы, не помню точных слов, вроде Папо недавно чинил ей автомобиль; получается, она его использовала…

Линдси была еще подростком, в том самом возрасте, когда уверен, что знаешь все на свете и мир вращается вокруг тебя одного. Папо был замечательным человеком, но «крутым стариканом» его никак не назовешь. Он каждый день ходил в одной и той же футболке с большим карманом на груди, куда влезала пачка сигарет. От него пахло плесенью, потому что он надевал постиранные вещи прямо из машинки, не давая им как следует просохнуть. За годы курения в легких у него скопилось немало мокроты, и он без стеснения делился ею с окружающим миром. Он слушал Джонни Кэша[30] и водил старый «эль камино»[31]. Иными словами, Папо был не самой приятной компанией для симпатичной и общительной девочки семнадцати лет. Так что да: она его использовала, как и любая другая девочка-подросток использует отца, то есть любила его, восхищалась им, просила о всяких мелочах и забывала о нем, как только попадала в компанию друзей.

Даже сегодня понятие «родителя» для меня неразрывно связано с представлением о личной выгоде. Инстинктивно мы с

Линдси понимали, что многие люди, которые участвовали в нашем воспитании, не должны были уделять нам столько внимания, поэтому мы боялись показаться им слишком приставучими. Боялись так сильно, что первой мыслью, которая пришла Линдси в голову после известия о смерти Папо, была мысль о том, что она его использовала. Отчего-то мы испытывали стыд, что вынуждены просить кого-то о помощи, пусть даже речь шла о сущей мелочи вроде горячего ужина или ремонта автомобиля; для нас это была неоправданная роскошь, которую мы не можем себе позволить, потому что слишком сильно зависим от доброй воли окружающих. Мамо и Папо всеми силами пытались побороть в нас это чувство. Во время редких вылазок в приличный ресторан меня всегда долго пытали, чего я хочу на самом деле, пока я не признавался, что да, мне хочется стейка. И бабушка с дедом, не слушая протестов, заказывали мне дорогой стейк. Однако несмотря на все усилия, родным так и не удалось избавить нас от лишней стеснительности.

Папо умер во вторник, я это запомнил, потому что мамин приятель, Мэтт, следующим утром отвез меня в закусочную, чтобы купить еды на всю семью, и там по радио играла песня «Вторник улетел» группы «Линэрд Скинэрд»[32]: «Надо как-то жить дальше. Вторник улетел, улетел вместе с ветром». Именно в тот момент я осознал, что больше никогда не увижу Папо. Взрослые занимались своими делами: устраивали похороны, решали финансовые вопросы… В четверг мы провели панихиду в Мидлтауне, чтобы с дедом могли проститься его здешние друзья; а в пятницу, накануне похорон — еще одну, в Джексоне. Даже после смерти Папо одной ногой стоял в Огайо, а второй — в горах Кентукки.

Все, кого я хотел видеть, пришли на панихиду в Джексоне: дядюшка Джимми с детьми, наши многочисленные родственники, друзья и мужчины Блантон из тех, кто еще скрипел костями. Когда я увидел этих титанов нашего рода, мне вдруг пришло в голову, что прежде мы встречались по праздникам, на семейных сборищах или во время летних каникул, а последние два года видим друг друга только по грустному поводу: на похоронах.

На панихиде, как водится, священник пригласил гостей встать и сказать пару слов о покойном. Я сидел рядом с дядюшкой Джимми и рыдал так, что едва мог открыть распухшие глаза. И все же я знал, что другого шанса уже не будет: если промолчу сейчас, то буду жалеть об этом до конца дней.

Невольно вспомнилось одно событие лет десять назад. Точнее, сам я тот день не помню, знаю только по рассказам. Мне было года четыре, и я сидел в похоронном бюро на панихиде

двоюродного деда. Мы только что приехали из Мидлтауна, дорога заняла несколько часов, и когда священник попросил нас склонить головы и помолиться, я послушно опустил подбородок и уснул. Старший брат Мамо, дядюшка Пет, уложил меня на скамью, подсунул под голову Библию и оставил в покое. Все, что было дальше, я благополучно проспал, но мне потом рассказали во всех красках, причем не один раз. Даже сейчас, годы спустя, любой, кто был на тех похоронах, обязательно упоминает при случае тот курьез.

Когда я не вышел из церкви вместе с толпой скорбящих, Мамо и Папо заподозрили неладное. Даже в Джексоне водились извращенцы, которым нравились маленькие мальчики. У Папо мигом созрел план: из похоронного бюро было лишь два выхода, и люди еще не разъехались. Папо притащил из машины свой «магнум» сорок четвертого калибра и бабулин тридцать восьмой. Они перекрыли оба выезда и принялись обыскивать каждый автомобиль. Когда им попался кто-то из знакомых, ему объяснили ситуацию и попросили о помощи. Тот позвал на подмогу своих приятелей, и вскоре они перетряхивали машины усерднее агентов наркоконтроля.

Потом подошел дядюшка Пет, ужасно злой: он не понимал, отчего вдруг затор? Когда услышал, в чем дело, то расхохотался: «Да парень ваш в церкви спит, пойдемте покажу». Лишь когда Мамо и Папо убедились, что я цел и невредим, машинам наконец дали разъехаться.

Еще я вспомнил, как Папо купил мне пневматическое ружье с прицелом. Он закрепил его на верстаке в тисках и несколько раз выстрелил в мишень. После каждого выстрела мы поправляли прицел, сравнивая перекрестье с тем местом, куда угодила пуля. Потом дед научил меня стрелять: сосредотачиваться на прицеле вместо мишени, правильно дышать, нажимая спусковой крючок. Спустя многие годы инструкторы в тренировочном лагере говорили, что новобранцы, которые учились стрелять в детстве, показывают на стрельбах крайне плохие результаты, потому что неверно усвоили основополагающие принципы. Это и в самом деле так, с одним лишь исключением: в моем лице. Папо подготовил меня мастерски, и я лучше всех во взводе обращался с винтовкой MI6, завершив свое обучение с самыми высокими показателями.

Папо был ужасно груб. На любое замечание или высказывание, которое ему не нравилось, он выдавал один ответ: «Хрень собачья». Еще он обожал автомобили: покупал их, продавал, ремонтировал… Однажды был случай: дядюшка Джимми вернулся домой и увидел, как его отец возится во дворе

с какой-то колымагой. «Он орал так, что стены тряслись. Мол, что за дешевое дерьмо — эти японские корыта! Какой тупой ублюдок отливал эту деталь? Он не знал, что рядом кто-то есть. Я услышал случайно и решил, что он жалуется». Дядюшка Джимми недавно устроился работать и решил со своих денег помочь отцу. Он предложил отогнать машину в сервис. Папо опешил: «Еще чего удумал! Зачем? Мне нравится чинить автомобили».

У Папо был большой живот и круглые щеки, тонкие руки и ноги. Он никогда не просил прощения. Как-то он возил тетушку Ви за город, и та, заговорив про его алкоголизм, спросила, почему они так редко общаются. «А сейчас мы чем, по-твоему, занимаемся? — ответил Папо. — Весь день трясемся в этой развалюхе…» Но он всегда извинялся поступками: если вдруг выходил из себя, то потом баловал нас новыми игрушками или мороженым.

Папо был закостенелым хиллбилли из давно минувшей эпохи. В той поездке с тетушкой Ви они рано утром остановились отдохнуть в придорожном кафе. Тетушка Ви решила причесаться и почистить зубы, поэтому задержалась в туалете. Папо решил, что ее нет слишком долго, и с ружьем наперевес выбил дверь, совсем как персонаж Лиама Нисона. Подумал, что там ее насилует какой-то извращенец.

Потом был случай, когда на тетушкину дочку зарычала собака. Дед сказал Дэну, что если тот не избавится от шавки, то Папо накормит ее мясом, смоченным в антифризе. Он не шутил: за тридцать лет до этого Папо то же самое сказал соседу, когда его пес чуть было не покусал мою мать. Через неделю пес издох.

Я вспоминал об этом на похоронах. Об этом и многом другом.

Но больше всего я думал про нас с Папо. О том времени, что мы проводили над задачником по математике. Он учил меня, что недостаток знаний и нехватка ума — все-таки разные вещи. Первое при должном терпении и усилиях можно исправить. Что до второго — «считай, ты по уши в дерьме; греби не греби, уже не выплыть».

Я вспоминал, как Папо валялся с нами — со мной и дочками тетушки Ви — на земле и бесился словно ребенок. Несмотря на его ворчливость и грубость, мы частенько лезли к нему на колени с поцелуями. Он купил Линдси подержанный автомобиль, починил, а когда она его разбила, купил еще один — просто чтобы она не чувствовала себя «ущербной». Я вспоминал, как порой ссорился с матерью, или Линдси, или Мамо, а Папо всегда вставал на их сторону и давал мне хорошую взбучку, потому что, как однажды он сказал, «мужчину судят по тому, как он

обращается со своими женщинами». Его мудрость была житейской; он учился всему на собственном опыте, в юности и сам не раз допуская ошибки.

Поэтому я встал и сказал всем, как Папо был для нас важен. «У меня никогда не было отца, — начал я. — Его заменил дедушка, и он научил меня всему, что должен уметь мужчина. Он был лучшим отцом на свете; о таком можно только мечтать».

После похорон многие сказали, что я поступил очень храбро и мужественно. Многие — но не мать. И это было странно. Я заметил ее в толпе; она была словно в трансе: ничего не говорила, даже если кто-то к ней обращался, и двигалась еле-еле, будто заторможенная.

Мамо тоже была не в себе. Обычно в Кентукки она расправляла крылья, наконец очутившись в родной стихии. В Мидлтауне она никогда не могла по-настоящему быть собой. В «Перкинс»[33], где мы порой завтракали, официанты просили бабушку говорить не так громко и вообще следить за языком. «Дебилы», — смущенно и обиженно бормотала она сквозь зубы. А вот в семейной закусочной «У Билли», единственном приличном ресторане Джексона, она орала на весь зал, поторапливая поваров, а те со смехом отвечали: «Как скажешь, Бонни». Она смущенно переводила на меня взгляд и предупреждала: «Ты же знаешь, я просто шучу. Они в курсе, что я не старая тупая сука».

В Джексоне, среди старых друзей и истинных хиллбилли, ей не нужно было притворяться. Несколькими годами ранее, на похоронах брата, Мамо с племянницей Дениз вдруг заподозрили, что один из носильщиков гроба — извращенец, поэтому они ворвались к нему в кабинет и перерыли все вещи. Нашли богатую коллекцию порнографических журналов, включая несколько выпусков «Охоты на бобров»[34] (периодического издания, которое, смею вас заверить, пишет отнюдь не про водных млекопитающих).

Мамо он показался очень смешным. «Долбаные бобры, — хохотала она. — Кому только пришла в голову такая хрень?» Они с Дениз хотели сперва забрать журналы домой и выслать потом по почте жене носильщика. Но после недолгих размышлений передумали. «А то повезет еще, и на пути в Огайо попадем в аварию. Копы найдут у меня в багажнике эту хрень. И люди решат, будто я не только извращенка, но и лесбиянка вдобавок». Поэтому журналы они выбросили, чтобы «преподать этому уроду славный урок». Такой Мамо бывала лишь в Джексоне.

Похоронный дом Дитона в Джексоне — тот самый, где она украла «Охоту на бобров» — был устроен как церковь. В центре здания находился храм; его окружали просторные залы со

столами и креслами. По противоположным сторонам размещались коридоры, откуда можно было попасть в небольшие служебные помещения: кабинеты персонала, офисную кухню, туалеты. В детстве я бывал там не раз, прощаясь с тетками, дядьями, двоюродными братьями и прочей родней. Кого бы Мамо ни хоронила: старого ли друга, брата или любимую мать, — она всегда громко приветствовала каждого гостя. Однако на похоронах деда, когда я хотел найти у бабули утешение, я вдруг в ужасе увидел ее в самом дальнем углу похоронного дома, поникшую и глядящую в пол, словно вечная батарея все-таки разрядилась. В этот момент я понял, что Мамо отнюдь не всесильна.

Сегодня, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что холодная отрешенность бабушки и матери была вызвана не только горем. Просто Линдси с Мэттом и Мамо пытались меня отвлечь. Бабушка нарочно держала меня подальше от матери, сделав вид, будто нуждается в моей поддержке. Может, она хотела дать мне время самому пережить дедушкину смерть. Не знаю…

Сперва я не замечал ничего необычного. Папо умер, и каждый переживал его смерть по-своему. Линдси почти все время проводила с друзьями, я ее толком не видел. Сам я держался поближе к Мамо и постоянно читал Библию. Мать спала больше обычного и постоянно срывалась по мелочам. Если Линдси вдруг забывала приготовить ужин или выгулять собаку, мать принималась вопить: «Отец единственный меня понимал! Теперь его больше нет, а вы все делаете назло!» Впрочем, мать всегда была вспыльчивой, поэтому я не заподозрил дурного.

Казалось, что мать бесится, когда по деду горюет кто-то помимо нее. Тетушка Ви, например, не имела права плакать, потому что с Папо они никогда не были близки. Мамо вообще не любила мужа и не хотела жить с ним под одной крышей. Мы с Линдси обязаны были взять себя в руки, потому что умер всего лишь дедушка, а не родной отец. Первый тревожный звоночек, что дело неладно, прозвенел однажды утром, когда я проснулся и решил сходить домой к матери. Было рано, они с Линдси должны были еще спать. Сперва я зашел в комнату к сестре, но там оказалось пусто. Нашлась она почему-то в моей спальне. Я встал рядом с ней на колени, разбудил, и она крепко меня обняла. А потом, спустя какое-то время, с чувством сказала: «Мы справимся, Джей! — (Так она меня называла.) — Обязательно справимся!» До сих пор не знаю, почему той ночью она легла спать у меня в комнате. Зато я очень быстро узнал, что Линдси имела в виду.

Спустя несколько дней после похорон я вышел из дома Мамо, огляделся — и вдруг услыхал в конце улицы какой-то шум.

Мать стояла во дворе в одном лишь банном полотенце и орала на самых близких ей людей. На Мэтта: «Гребаный ты неудачник!» На Линдси: «Хватит уже, сучка, думать только о себе! Устраиваешь драму, будто потеряла родного папочку. Он тебе не отец!» На Тэмми — своего приятеля, очень милого парня, который на самом деле был геем: «Ты только притворяешься мне другом, а сам мечтаешь меня трахнуть!» Я побежал туда, хотел ее успокоить, однако тем временем подъехала полиция. Полицейский схватил маму за плечи, и она, вырываясь, упала на землю. Ее подняли и потащили в машину, а она брыкалась и кричала. На крыльце была кровь; кто-то сказал, что мать порезала запястья. Я так и не понял до конца, что именно там произошло. Пришла Мамо, забрала нас с Линдси к себе. В голове вертелась только одна мысль: Папо обязательно бы придумал, что делать.

Дедушкина смерть стала для матери последней каплей. Наверное, только ребенок мог закрывать глаза на тревожные симптомы. Годом ранее мать потеряла работу в мидлтаунской больнице, потому что каталась по отделению неотложки на роликовых коньках. Я тогда считал, что мать ведет себя странно из-за развода с Бобом. Мамо порой говорила, что у матери «едет крыша», но я считал, что бабушка просто язвит. Когда мать уволили, я как раз уехал в Калифорнию и за все время поездки получил от нее лишь одно письмо. Я понятия не имел, что за моей спиной взрослые — Мамо и дядюшка Джимми со своей женой, тетушкой Донной — обсуждают, не стоит ли мне перебраться в Калифорнию насовсем.

Тот случай, когда мать чуть ли не голышом устроила во дворе сцену, оказался кульминацией ее истерик. Выяснилось, что вскоре после переезда в округ Прейбл она подсела на опиатические медикаменты. Сперва выпрашивала рецепты у врачей, затем, видимо, стала воровать лекарства у пациентов. Кончина Папо ее добила, превратив наркоманку в человека, неспособного соблюдать правила приличия.

Так смерть Папо окончательно переломила жизнь нашей семьи. До похорон я жил хоть и суматошно, на два дома, тем не менее вполне счастливо. У матери сменялись ухажеры, бывали хорошие дни и плохие, но мне всегда было куда пойти. После смерти Папо, когда мать попала в Центр реабилитации наркоманов Цинциннати — мы называли его «домом ЦРН», я вдруг ощутил себя обузой. Мамо никогда не жаловалась, однако с самого детства она только и делала, что боролась: сперва с нищетой в Джексоне, потом с мужем-алкоголиком, затем с юным зятем-мерзавцем (первым супругом тетушки Ви) и, наконец, с многочисленными кавалерами матери. Все семьдесят лет жизни

Мамо решала чужие проблемы. А теперь, когда ее ровесники наслаждались тихой и спокойной пенсией, ей пришлось воспитывать двоих внуков-подростков. Без поддержки Папо это бремя оказалось вдвое тяжелее. Спустя несколько месяцев после его смерти я вспоминал ту женщину, которую видел в уголке похоронного дома, и не мог избавиться от ощущения, что, несмотря на все бабушкины старания, эта незнакомка теперь все чаще берет над ней верх.

Поэтому вместо того чтобы переехать к Мамо или хотя бы звонить ей по малейшему пустячному поводу, мы с Линдси решили справляться своими силами. Линдси только что окончила среднюю школу, я перешел в седьмой класс; более-менее нам удалось наладить быт. Иногда Мэтт или Тэмми приносили нам еды, хотя чаще мы обходились полуфабрикатами, пиццей, печеньем и хлопьями. Не знаю, кто оплачивал счета — скорее всего, Мамо. За дисциплиной мы следили плохо, но обычно нам не требовался посторонний контроль. Однажды Линдси пришла домой с работы и обнаружила меня в компании ее приятельниц, вусмерть пьяного. Узнав, что ее подружки напоили меня пивом, она не стала кричать или высмеивать меня, просто выставила посторонних из дома, а мне прочитала лекцию о вреде алкоголя.

Мы часто виделись с матерью, и она постоянно о нас спрашивала. Однако нам нравилось жить одним: мы наслаждались свободой и ощущением, что ни от кого не зависим. Мы с Линдси всегда неплохо справлялись с трудностями, стойко встречали любые испытания, поэтому забота друг о друге нам была не в тягость. Как бы мы ни любили маму, без нее жизнь стала проще.

Бывало ли трудно? Разумеется. Однажды из школьного управления прислали письмо с предупреждением, что у меня скопилось слишком много прогулов, поэтому родителей могут вызвать в школу или даже привлечь к ответственности. Письмо нас позабавило: одного из моих родителей держали под замком в лечебнице, а второго еще надо было отыскать. Но при этом мы испугались: у нас не было законного опекуна, который мог бы ответить на письмо, поэтому черт его знает, что теперь делать… Как всегда, пришлось импровизировать. Линдси подделала мамину подпись, и администрация школы от нас отстала.

В назначенные дни — в выходные и будни — мы ездили к матери в «дом ЦРН». Я думал, что после хиллбилли из Кентукки, маминых истерик и бабушки с ружьем видел уже все. Однако мать невольно познакомила нас с еще одним обликом американской преступности. В среду всегда проходили групповые занятия. Все наркоманы со своими родственниками сидели в

одном большом помещении, каждая семья за отдельным столом, и участвовали в дискуссии, призванной обучить нас тому, как жить и бороться с наркозависимостью.

На одной из таких встреч мать заявила, что стала принимать наркотики, чтобы заглушить стресс от оплаты бесчисленных счетов и боль из-за отцовской смерти. В другой раз мы с Линдси узнали, что она поддалась соблазну из-за обычного соперничества с братом и сестрой.

Эти встречи провоцировали не только выплеск эмоций, как ожидалось. Вечерами, когда мы сидели в огромном зале вперемешку с другими семьями (все были либо темнокожими, либо белыми с южным акцентом вроде нас), мы не раз становились свидетелями скандалов и даже драк. Дети кричали родителям, что ненавидят их; родители в слезах молили о прощении и тут же обвиняли друг друга в новых грехах. Именно там я впервые услышал, как Линдси говорит матери, что ужасно обиделась, когда после смерти Папо ей пришлось взвалить на себя все заботы по хозяйству, и с какой злостью она наблюдала, как я привязываюсь к очередному отчиму, а тот уходит из нашей жизни. Может, сыграла свое обстановка или тот факт, что Линдси недавно исполнилось восемнадцать… В общем, когда моя сестра выступила против матери, я увидел в ней по-настоящему взрослого человека.

Реабилитация шла полным ходом, вскоре состояние мамы улучшилось. Воскресенье было днем досуга: пациентам, конечно, запрещали покидать центр, но мы могли приезжать, чтобы вместе посмотреть телевизор, пообедать и поболтать о всяких пустяках. Воскресенья обычно проходили мирно, хотя однажды мать принялась кричать на нас за то, что мы слишком сблизились с Мамо: «Она вам не мать! Вы не ее, а меня должны слушать!»

Когда спустя несколько месяцев мать вернулась домой, она успела обзавестись новым словарным запасом. Регулярно читала «Молитву о душевном покое» — один из этапов программы для наркозависимых, в которой верующие просят Господа о «душевном покое принять то, что <они> не в силах изменить». Наркозависимость сродни болезни, и как нельзя судить ракового больного за опухоль, так нельзя осуждать наркомана за его пристрастие. В свои тринадцать я считал это глупостью, и мы с матерью не раз спорили, научно ли доказанная это истина или не более чем оправдание для людей, разрушивших себе жизнь. Хотя, скорее всего, и то и другое: исследования доказывают существование генетической предрасположенности к употреблению психотропных веществ, но при этом известно, что люди, которые считают зависимость обычной болезнью, с

меньшей охотой с нею борются.

Борьба с наркозависимостью, похоже, дала матери цель в жизни и снова нас сблизила. Я прочитал о ее «болезни» все, что только мог, и даже приобрел привычку посещать некоторые встречи «анонимных наркоманов», которые проходили именно в такой обстановке, как показывают в фильмах: унылый зал, десяток стульев и толпа незнакомцев, говорящих по очереди: «Здравствуйте, я Боб, и я наркоман». Мне казалось, что мое присутствие поможет матери поскорее выздороветь.

На одну из таких встреч заявился мужчина, от которого воняло, как от помойной ямы. Волосы были спутанными, одежда — грязной; видимо, он жил на улице. Собственно, он подтвердил наши подозрения своей первой же фразой: «Мои дети со мной не разговаривают. Все от меня отреклись. Я попрошайничаю, а выручку спускаю на дозу. Сегодня денег не хватило, поэтому решил прийти сюда. У вас хоть погреться можно». Организатор спросил, не готов ли он отказаться от наркотиков хотя бы на пару дней, и мужчина с потрясающей честностью ответил: «Вряд ли. Скорее всего, завтра я наскребу денег на дозу».

Этого мужчину я видел первый и последний раз в жизни. Напоследок кто-то спросил, откуда он. «Почти всю жизнь прожил в Гамильтоне. Но родился на западе Кентукки, в округе Оусли». Если бы я знал тогда географию Кентукки чуть получше, то сказал бы ему, что он вырос в двадцати милях от дома моей прабабки.

Глава восьмая

К концу моего восьмого класса мать не принимала наркотики уже больше года и по-прежнему встречалась с Мэттом. В школе дела у меня шли неплохо. Мамо пару раз съездила в отпуск: сперва в Калифорнию, навестить дядюшку Джимми, а потом с подругой Кэти в Лас-Вегас. Линдси вскоре после смерти Папо вышла замуж. Ее муж, Кевин, сразу мне понравился. И нравится до сих пор — по одной простой причине: с Линдси он никогда не бывает груб, а для сестры, на мой взгляд, это главное. Через год после свадьбы она родила сына, Кэмерона. Из нее вышла замечательная мать. Я ужасно горжусь племянником и очень к нему привязан. Итак, вместе с дочками тетушки Ви теперь у нас было трое маленьких детей — живое свидетельство, что семья наконец возрождается. Поэтому накануне старшей школы я верил, что дальше будет только лучше.

Однако тем же летом мать объявила, что я должен переехать с ней в Дейтон, к Мэтту. Мэтт, конечно, был славным парнем, и мать жила с ним уже года три. Но беда в том, что Дейтон находился в сорока пяти минутах езды от Мидлтауна, и мать намекнула, что планирует перевести меня в дейтонскую школу. Мне нравилось в Мидлтауне, хотелось ходить в прежнюю школу, там у меня были друзья. Еще мне нравилось, хоть это и странно, жить на два дома — мамин и бабушкин, — а выходные проводить у отца. Самое главное, что при необходимости я всегда мог прийти к Мамо. Я слишком хорошо помнил то время, когда такой возможности не было. Более того, переселившись в Дейтон, мне пришлось бы расстаться с Линдси и Кэмероном. Поэтому, когда мать заикнулась о переезде, я наотрез отказался, наорал на нее и убежал.

Мать из нашего спора вынесла лишь один вывод: что я не умею сдерживать гнев, поэтому записала меня на консультацию к своему психотерапевту. Я даже не знал, что у нее есть личный психотерапевт (и деньги, чтобы платить за него), но все-таки согласился на встречу. Первая консультация прошла в старом душном кабинете, где я, мать и невзрачная женщина средних лет стали выяснять, отчего я так зол. Я знал, что многие люди склонны переоценивать свою выдержку. Возможно, мать права и я впрямь склонен к агрессии? (На самом деле нет.) Поэтому я настроился на сотрудничество. Вдруг эта женщина поможет мне и матери прийти к согласию?

Однако с первых же минут все пошло наперекосяк. Психотерапевт начала спрашивать, почему я кричу и убегаю из

дома: разве я не знаю, что обязан подчиняться матери по закону? Затем она перечислила все мои «истерики», половину из которых я даже не помнил: например, случаи, когда я в пятилетием возрасте расплакался в магазине, или когда подрался в школе (с тем самым хулиганом по наущению Мамо, с которым вообще не хотел связываться), или когда из-за маминых «воспитательных мер» убегал к бабушке и дедушке. Очевидно, что у этой женщины уже сложилось обо мне впечатление, причем исключительно по рассказам матери. Если прежде я сдерживался, то теперь и впрямь вспылил.

«Вы хоть представляете, о чем говорите?! — В свои четырнадцать я уже имел некоторое представление о профессиональной этике. — Вы вообще в курсе, что должны спрашивать мое мнение по тому или иному вопросу, а не просто критиковать мое поведение?»

И я принялся подробно рассказывать о своей прежней жизни. Правда не обо всем: еще во время судебного процесса мы с Линдси условились молчать о некоторых материнских выходках: их могли счесть новой формой семейного насилия, и психотерапевт обязана была в таком случае сообщить в службу опеки. Вышло довольно иронично: мне приходилось врать психотерапевту, чтобы защитить мать.

Видимо, мой монолог вышел убедительным, потому что в итоге женщина сказала: «Наверное, нам стоит продолжить разговор наедине».

В этой женщине я видел лишь препятствие, которое поставила передо мной мать, но никак не человека, способного помочь. Я объяснил ей, что не хочу переезжать от тех, кто мне близок, к мужчине, который все равно рано или поздно от нас уйдет. Единственное, что я утаил — это что впервые в жизни ощутил себя загнанным в угол. Папо умер, а Мамо — закоренелая курильщица с эмфиземой — была слишком стара и слаба, чтобы заботиться о четырнадцатилетием мальчишке. Тетушка и дядюшка и без того воспитывали двоих маленьких детей, а Линдси только что вышла замуж и родила. Мне просто некуда было деваться. За свою жизнь я повидал всякого: скандалы, драки, наркотики… Но никогда прежде не испытывал чувства, что угодил в западню. Когда психотерапевт спросила, как я планирую поступить, я ответил, что, скорее всего, перееду к отцу.

Она похвалила — мудрое решение. Выходя из кабинета, я поблагодарил женщину за внимание, уже зная, что больше никогда сюда не вернусь.

У матери был один серьезный недостаток: она порой закрывала глаза на действительность. Когда она предложила мне

переехать в Дейтон, мой отказ совершенно искренне ее удивил. Потом она потащила меня к психотерапевту, и я лишний раз убедился, что мать совершенно не представляет, какие чувства бушуют у нас с Линдси в душе. Линдси однажды сказала: «Мать нас не понимает». Я сперва возразил: «Все она понимает, просто ничего не может изменить». Однако после визита к психотерапевту убедился, что Линдси права.

Мать была очень недовольна, когда я сказал ей, что буду жить с отцом. Остальные — тоже. Никто меня не понял, а правду сказать я не мог. Чувствовал, что если разоткровенничаюсь, то все наперебой позовут меня к себе, Мамо, разумеется, победит, и мне придется к ней переехать. А еще я знал, что тогда она будет считать себя виноватой, а люди станут задавать неудобные вопросы, почему я не живу с родителями, шептаться у нее за спиной, что пора бы ей все бросить и отдохнуть, наслаждаясь золотыми годами на пенсии. Мамо никогда не призналась бы вслух, но я и сам видел тревожные симптомы: как она порой бормочет под нос и вздыхает, а усталость буквально окружает ее темной пеленой. Я не желал для нее такой участи, поэтому выбрал, как мне казалось, самый безболезненный вариант.

В каком-то смысле у отца мне даже нравилось. Жизнь текла тихо и размеренно. Мачеха работала до обеда, а во второй половине дня уже была дома. Отец приходил с работы в одно и то же время. Кто-то (обычно мачеха, но иногда и отец) готовил ужин, и мы вместе садились за стол. Перед каждым приемом пищи возносили молитву (этот ритуал всегда мне нравился, но за пределами Кентукки он не был распространен). По вечерам мы смотрели комедии. Отец с Черил никогда не кричали друг на друга, разве что могли поспорить на повышенных тонах.

В первые же выходные в доме отца («первые» в том смысле, что в понедельник не надо было никуда уезжать) мой младший брат позвал с ночевкой приятеля. Мы втроем ловили рыбу в пруду, кормили лошадей, вечером жарили на гриле стейки. Ночью до самого утра смотрели фильмы про Индиану Джонса. Никаких драк, скандалов, истерик и разбивающегося о пол сервиза. Скучный вечер. Именно о таком я всегда мечтал.

Впрочем, я все равно не терял бдительности. К моменту переезда мы с отцом общались уже два года. Я знал, что он хороший человек: немногословный набожный христианин, строго блюдущий церковные заветы. В первые же дни он сказал, что его не волнует моя любовь к классическому року, особенно к «Лед Зеппелин». Он не злился — он вообще никогда не злился — и не запрещал мне слушать любимую музыку; просто рекомендовал вместо этого обратить внимание на христианский рок. Я боялся

сказать ему, что люблю настольную игру под названием «Магия»: он вполне мог счесть ее сатанинской (в конце концов, участники юношеского церковного общества не раз говорили о том, как пагубно «Магия» влияет на души юных христиан). Еще я, как и все подростки, порой сомневался в своей вере — совместима ли она с современной наукой, например, или как трактовать ту или иную спорную доктрину?

Вряд ли мои вопросы огорчили бы отца, но я не стал рисковать, не зная, что он мне ответит. Вдруг обзовет семенем Сатаны и немедленно выставит прочь? Возможно, наши добрые отношения строились исключительно на том, что он считал меня примерным сыном. Не знаю, как отец поступил бы, узнай он, что я тайком слушаю «Лед Зеппелин» прямиком у него в доме, рядом с братом и сестрой.

В какой-то момент я понял, что больше не могу так жить.

Думаю, Мамо сознавала, что происходит у меня в голове, хоть я никогда ей и не жаловался. Мы часто разговаривали по телефону, и однажды вечером она сказала: «Знай, Джей Ди, я люблю тебя больше всего на свете и хочу, чтобы когда-нибудь, когда будешь готов, ты вернулся. Это твой дом, Джей Ди, и всегда будет твоим домом». На следующий день я позвонил Линдси и попросил меня забрать. У нее наверняка были свои дела: работа, муж, ребенок, домашние хлопоты… И все же она сказала: «Буду через сорок пять минут». Я извинился перед отцом. Его очень огорчило мое решение, но он меня понял: «Ты не можешь без своей чокнутой бабки. Она за тебя в лепешку разобьется». Удивительная проницательность для человека, которому Мамо в жизни не сказала ни единого доброго слова. Я впервые понял, что отец чувствует, и, разумеется, оценил его старания. Когда приехала Линдси, я сел к ней в машину, вздохнул и сказал: «Спасибо, что приехала, а теперь отвези меня, пожалуйста, домой». Потом поцеловал в лоб своего кроху-племянника и больше до самого Мидлтауна не проронил ни слова.

Остаток лета я провел с Мамо. За те несколько недель, что я прожил с отцом, чуда не случилось: я по-прежнему разрывался между желанием жить с бабушкой и тайным страхом оказаться ей на старости лет в тягость. Поэтому к началу учебного года я все-таки заявил матери, что готов жить с ней при условии, что буду ходить в мидлтаунскую школу и видеться с Мамо, когда пожелаю. Она выдвинула свое условие: через год перевестись в школу Дейтона. Я решил, что к этому вопросу мы вернемся, когда придет время.

Жить с матерью и Мэттом было все равно что наблюдать за концом света из первых рядов. Сам я давно привык к подобным

сценам, но вот бедняга Мэтт наверняка спрашивал себя, какого черта он ввязался в эту авантюру. С первого же дня стало ясно, что ничего не выйдет, их расставание — лишь вопрос времени. Мэтт был слишком хорошим парнем, а мы с Линдси частенько шутили, что хорошие парни в нашей семье не приживаются.

Учитывая непростые отношения матери с Мэттом, меня очень удивило, когда однажды я пришел домой из школы и услышал, что она выходит замуж. Видимо, все было не так уж и плохо! «Если честно, я думал, вы с Мэттом не ладите, — признался я. — Вы же ругаетесь каждый день». «Ага, — ответила она. — Я и выхожу не за Мэтта».

Мать несколько месяцев назад устроилась работать в местный диализный центр. Ее начальник, старше нее лет на десять, однажды пригласил ее на ужин. Она согласилась, не желая портить с ним отношения, тем более что накануне опять повздорила с Мэттом — и через неделю получила предложение руки и сердца. О свадьбе она сообщила мне в четверг. Уже в субботу мы переехали к Кену. В четвертый дом за два года.

Кен родился в Корее, но вырос в Америке — его воспитали в семье американского ветерана. В первые же дни я решил прогуляться по дому и обнаружил в оранжерее небольшую грядку с марихуаной. Я рассказал матери, та — Кену, и уже к вечеру на этом месте росли помидоры. Я решил спросить Кена напрямик, а тот замялся и наконец ответил: «Это в лечебных целях, не переживай».

Трое детей Кена — девочка-подросток и двое мальчишек моих лет, — как и я, считали его женитьбу полным безумием. Старший пасынок постоянно дерзил моей матери, а значит, по аппалачскому кодексу чести мне предстояло выступить в ее защиту. Однажды, перед тем как лечь спать, я зачем-то спустился в гостиную и услышал, как он называет ее сукой. Ни один уважающий себя хиллбилли не сумел бы промолчать, поэтому я решил избить своего сводного братца до полусмерти. Если честно, я даже не очень разозлился, в драку лез скорее из чувства долга. Но видок у меня, наверное, был столь кровожадный, что мать с Кеном решили увезти меня от греха подальше, поэтому тем же вечером мы с нею поехали к бабушке.

Помню, как в сериале «Западное крыло»[35] один эпизод был посвящен системе американского образования, которую многие люди считают ключом к успеху. Вымышленный президент обсуждал, надо ли выдавать школьникам образовательные ваучеры (государственные деньги, чтобы дети могли оплатить учебу в приличных частных школах) или лучше сосредоточиться на развитии государственных учебных заведений. Конечно, этот

вопрос весьма важен (ведь в моем округе мало кто мог рассчитывать на ваучер), но куда поразительнее в этой дискуссии то, что сомнительные достижения детей из бедных семейств объясняют исключительно слабой подготовкой школ. Как мне сказала недавно одна из моих прежних учительниц: «Они хотят, чтобы мы были пастырями для этих детей. Но никто не хочет признавать, что по натуре они рождены волками».

Не знаю, что случилось на следующий день после того, как мы с матерью уехали от Кена. То ли я завалил какой-то тест. То ли не успел подготовить домашнюю работу. Знаю лишь одно: я наконец понял, как мне осточертела учеба. Постоянные переезды, скандалы, вереница новых знакомых, к которым приходилось привыкать… Все это, еще и дрянная школа вдобавок, изрядно портило мне жизнь.

Я чуть было не остался на второй год, получив по диплому средний балл 2.1[36]. Я не выполнял домашнюю работу, перестал отвечать на занятиях и вообще забросил учебу. Порой симулировал болезнь, иногда просто отказывался идти в школу. Если все-таки появлялся на занятиях, то лишь затем, чтобы не получать новых писем с угрозами привлечь городскую службу опеки, вроде того, которое администрация прислала нам пару лет назад.

Наряду с прогулами я стал увлекаться наркотиками — ничего тяжелого, просто спиртное и травка, которую мы с сыновьями Кена добывали в оранжерее. Видимо, я решил доказать, что все-таки вижу разницу между помидорами и марихуаной.

Впервые в жизни я почувствовал, что мы с Линдси становимся друг другу чужими. Она уже год была замужем, совершив, на мой взгляд, настоящий подвиг: после всего, что ей довелось повидать, сумела найти мужчину, который заботился о ней и неплохо зарабатывал. Линдси выглядела очень счастливой. Она стала хорошей матерью, в сыне не чаяла души. Жила в небольшом доме неподалеку от Мамо. В общем, моя сестра неплохо устроилась.

И хотя я был за нее рад, перемены вызывали у меня тоску. Всю жизнь я провел с ней под одной крышей, а теперь она жила в Мидлтауне, а я — с Кеном в двадцати милях от города. Линдси обустроила свой быт, став хорошей матерью и примерной женой (причем не меняя мужей как перчатки), а меня окружал все тот же бардак. Линдси со своим мужем каталась по Флориде и Калифорнии, а мне приходилось ночевать в чужом доме в Майамисберге, штат Огайо.

Глава девятая

Мамо не знала, как мне тяжело, отчасти по моей собственной вине. Однажды на рождественских каникулах, через несколько месяцев после переезда к новому отчиму, я позвонил ей, чтобы пожаловаться на жизнь. Когда она ответила, на заднем фоне я услышал голоса родни: тетушки, кузины Гейл, кого-то еще. Судя по музыке и смеху, они веселились, и мне не хватило духу сказать то, ради чего я звонил: что я терпеть не могу свой новый дом с чужаками, а единственные люди, которые мне дороги (бабушка и сестра), с каждым днем становятся от меня все дальше. Вместо этого я попросил Мамо сказать всем, кто у нее в гостях, что я их люблю, а потом повесил трубку и пошел к себе в комнату смотреть телевизор. Еще никогда в жизни мне не было так одиноко. К счастью, я по-прежнему ходил в школу Мидлтауна, мог общаться со старыми друзьями и хоть изредка находить повод заглянуть к Мамо. После занятий я старался забегать к ней почти каждый день, и всякий раз она напоминала мне о важности учебы. Бабушка часто говорила, что если в нашей семье кому-то и суждено добиться успеха, то только мне. Я не осмеливался сказать, что на самом деле меня вот-вот исключат. Ожидалось, что я стану юристом, врачом или предпринимателем — никак не очередным раздолбаем, бросившим учебу. Вот только оценки становились все хуже.

В один прекрасный день, разумеется, все выяснилось. Я остался ночевать у бабушки, а утром заявилась мать и потребовала от меня банку свежей мочи. Мать, очень злая, влетела в дом буквально на всех парах. Ей срочно, до конца дня, требовалось сдать анализы, чтобы подтвердить лицензию медсестры. Однако у нее в моче обнаружился бы с десяток запрещенных препаратов, поэтому сдать анализы вместо нее предстояло мне.

Мать считала, она в своем праве. Она не испытывала ни малейших угрызений совести, ни капли сомнений, будто поступает неправильно. И разумеется, она не чувствовала за собой никакой вины, нарушив очередное обещание никогда больше не принимать наркотики.

Я отказался. Получив отпор, мать перешла в наступление. Она стала отчаянно взывать к моей совести. Плакала и умоляла: «Обещаю, это в последний раз, я обязательно исправлюсь». Я не верил ни единому слову. Линдси однажды сказала, что мать, как никто, умеет выкрутиться. Она постоянно обводила вокруг пальца бесконечных мужей и любовников, вышла сухой из воды в зале

суда, а теперь любой ценой пыталась увильнуть от разбирательств в сестринском комитете.

Я вспылил. Заявил матери, что, если ей нужна чистая моча, пусть перестанет ломать комедию и возьмет ее из собственного мочевого пузыря. А бабушке сказал, что это она распустила свою дочь и если бы тридцать лет назад она воспитывала детей как следует, то, возможно, Бев не пришлось бы сейчас выпрашивать у сына мочу. Я назвал обеих хреновыми мамашами. Мамо побелела как смерть и опустила глаза. Мои слова явно задели ее за живое.

И пусть я сказал чистую правду, на самом деле причина была в другом: я знал, что в моей моче тоже могут найти лишние примеси. Мать, тихонько завывая, упала на диван, а бабушку я утащил в ванную и шепотом признался, что на прошлой неделе дважды курил травку. «Я не могу сдать анализ! Если мать нальет в банку мою мочу, проблемы будут у нас обоих».

Первым делом Мамо меня успокоила. Она сказала, что пара косяков за такой срок давно уже выветрилась. «Тем более ты наверняка не умеешь курить как следует. Даже при большом желании боишься втягивать дым». Потом воззвала к совести: «Я знаю, что это неправильно. Но она твоя мать, мальчик мой. Давай поможем ей. Надеюсь, она хоть сейчас усвоит урок».

Именно тщетная надежда наладить наконец с матерью отношения вынуждала меня ходить на встречи анонимных наркоманов и всячески поддерживать ее в борьбе с зависимостью. Именно надежда заставила меня в тот страшный день сесть к матери в автомобиль, даже зная, что в ярости она может устроить какую-нибудь пакость, о которой будет потом жалеть. Надеялась на спасение дочери и Мамо, хотя жизнь так ее потрепала, что бабушка давно должна была разочароваться в людях. Но она по-прежнему не теряла веры в близких. Поэтому я уступил и ничуть об этом не жалею. Сдать анализ вместо матери было неправильно, однако я рад, что согласился тогда с бабушкой. Она ведь нашла в себе силы простить Папо после развода и всегда поддерживала меня в те минуты, когда я отчаянно в этом нуждался.

Впрочем, хоть я и смирился, тем утром во мне что-то сломалось. Я пошел в школу с красными от слез глазами, ужасно сожалея о своем поступке. За пару недель до этого мы с матерью сидели в китайском ресторанчике, и она тщетно пыталась запихнуть себе в рот еду. Меня до сих пор мутит, как вспомню, какой она была: с пустым расфокусированным взглядом подносила ко рту вилку, промахивалась мимо рта, и куски падали обратно в тарелку. Все вокруг на нас пялились, Кен изумленно таращил глаза, и только мать ничего не замечала. Она была под

действием рецептурной болеутоляющей таблетки (а может, и не одной). Я в тот момент ее возненавидел и пообещал себе, что, если она еще хоть раз примет наркотики, я в тот же день уйду из дома.

Случай с анализом стал для меня последней каплей. И для Мамо тоже. Когда я вернулся домой, бабушка заявила, что я должен жить с нею и не мотаться больше по чужим домам. Матери, похоже, было все равно; она заявила, что ей нужно «отдохнуть». Брак с Кеном продлился недолго. К концу учебного года она съехала из его дома, а я перебрался к Мамо и забыл про мать с ее мужьями как про страшный сон.

К слову, медицинскую комиссию она тогда прошла без нареканий.

Мне даже не пришлось паковать вещи, потому что почти все они и без того лежали в доме у Мамо. Ей не нравилось, что я беру к Кену слишком много одежды; почему-то она думала, что отчим или его сыновья станут воровать у меня носки с рубашками (которые, разумеется, были им ни к чему). Хотя мне нравилось жить у бабушки, я боялся, что окажусь ей в тягость. Кроме того, бабуля была женщиной очень язвительной и острой на язык, соседка по дому из нее получилась кошмарная. Если я забывал вынести мусор, она обзывала меня «ленивым куском дерьма». Если не делал домашнюю работу, она говорила, что у меня «мозги дерьмом заплыли», и напоминала, что если я не буду прилежно учиться, то так и останусь тупым дебилом. Она заставляла играть с нею в карты — чаще всего в джин рамми[37] — и никогда не давала мне выиграть. «Ты самый паршивый игрок на свете», — злорадствовала она (я не обижался, потому что так Мамо говорила каждому, кого обыгрывала, а в джин рамми равных бабуле не было).

Много лет спустя все мои близкие: тетушка Ви, дядюшка Джимми, Линдси — говорили, что Мамо была со мной очень строга. Может, даже слишком. В ее доме было всего три правила: получать хорошие оценки, работать и «подними уже ленивую задницу и помоги мне». Причем никакого определенного списка обязанностей у меня не было: мне надлежало помогать ей с любым занятием. Более того, бабушка никогда не говорила заранее, что надо делать — просто принималась орать, если я в первую же секунду не прибегал на помощь.

Зато с нею было весело. Она как тот пес — громко лаяла, но не кусала, по крайней мере, меня. Однажды в пятницу вечером бабушка силком усадила меня смотреть с ней сериал, какой-то мистический детектив (Мамо очень любила такие фильмы). В самый жуткий и напряженный момент она вдруг выключила свет

и гаркнула мне на ухо. Бабушка уже видела эту серию и знала, что будет дальше. Поэтому пугала меня до последних кадров, не давая перевести дух.

Самое главное, что благодаря близкому соседству я наконец узнал бабушку получше. Прежде я злился, что после смерти Мамо Блантон мы слишком редко ездим в Кентукки. Теперь мы бывали там не чаще одного раза в год и обычно не задерживались надолго. Живя с Мамо, я узнал, что после смерти матери она поссорилась со своей сестрой Роуз, женщиной редчайшей доброты. Бабушка хотела сделать из родительского дома нечто вроде музея, превратить его в место для семейных сборищ, а Роуз надеялась, что тот достанется ее сыну. Роуз тоже можно понять: родня из Огайо или Индианы наведывалась в Джексон не так уж часто, поэтому разумнее было бы отдать дом тому, кто станет в нем жить постоянно. Мамо же боялась, что тогда ее детям и внукам негде будет переночевать.

Я стал понимать, что для Мамо поездки в Джексон были скорее долгом, нежели развлечением. В «моем» Джексоне жили интересные дядьки, водилась всякая живность, за которой весело гоняться, и была хоть какая-то твердая почва под ногами, в отличие от Огайо. Там можно было спать рядышком с Мамо и болтать с нею часами напролет. Для бабушки же Джексон был совсем другим. Местом, где она голодала в детстве, откуда бежала на сносях после страшного скандала и где многие ее друзья положили свои жизни в шахтах. Меня тянуло в Джексон — она его избегала.

В старости, когда у нее заболели ноги, Мамо полюбила телешоу. Ей нравились и пошлые комедии, и эпические драмы. Однако неизменным ее фаворитом оставался криминальный сериал «Эйч-Би-Оу» «Клан Сопрано». Наверное, нет ничего странного в том, что бабушке полюбилась драма про жестких, несгибаемых мужчин, превыше всего ставящих вопросы чести. Уберите имена и даты — и перед вами уже не разборки итальянской мафии, а конфликт Хэтфилдов и Маккоев из Аппалачей. Главный герой сериала, Тони Сопрано — хладнокровный убийца, человек по любым меркам жестокий. Однако Мамо уважала его за честность и за стремление во что бы то ни стало защитить свою семью. Он мог косить врагов десятками, глушить спиртное, но Мамо упрекала его разве что в чрезмерной влюбчивости. «Нельзя тащить в постель каждую встречную бабу!» — возмущалась она.

Еще я впервые увидел со стороны, как Мамо любит детей. Она часто приглядывала за дочками тетушки Ви или сыном Линдси. Однажды девочки были у нас в гостях, и вдруг залаял

тетушкин пес, которого они с собой привезли. Мамо закричала: «Заткнись ты, сукин сын!» Моя двоюродная сестренка, Бонни Роуз, вскочила, подбежала к задней двери и стала на все лады повторять: «Сукин сын! Сукин сын!» Мамо тут же схватила ее на руки: «Ну-ка потише, не надо так говорить, это плохие слова». А сама покатывалась со смеху. Потом, пару недель спустя, я пришел из школы домой и спросил у Мамо, как прошел ее день. Она рассказала, что у нас гостил Кэмерон. «Он спросил, можно ли, как я, говорить “дерьмо”. Я ответила, что да, но только у меня в доме». И она ехидно захихикала. Как бы плохо Мамо себя ни чувствовала: задыхалась ли от эмфиземы или едва ходила из-за больной ноги, — она никогда не отказывалась «провести время с малютками». Мамо обожала внуков, а я понемногу начал понимать, почему ей так хотелось стать юристом и отстаивать права детей, подвергавшихся насилию.

В какой-то момент бабушке сделали серьезную операцию на позвоночнике, потому что она почти уже не могла ходить. На период реабилитации, который продлился несколько месяцев, ей пришлось переехать в дом престарелых, я остался один. Каждый вечер она звонила тетушке Ви, Линдси или мне и возмущенно требовала: «Сходите в “Тако Белл”[38] и купите бобового бурито. От здешней еды меня воротит». Дом престарелых она невзлюбила с первой же минуты и как-то заставила меня пообещать, что, если ее вздумают упечь сюда насовсем, я принесу «магнум» и пущу ей пулю в лоб. «Мамо, уймись! Меня же тогда посадят!» «Ладно, — сказала она, немного поразмыслив. — Просто раздобудь мне мышьяку, и тебя ни в чем не заподозрят». Оказалось, что операция на позвоночнике была не нужна, просто бабуля сломала бедро, и как только хирург его вправил, она встала на ноги, хотя прежде передвигалась только с ходунками или тростью. Теперь, став юристом, я удивляюсь, почему мы не подали в суд на врача, который по халатности стал резать ей спину. Впрочем, Мамо все равно не позволила бы нам затеять тяжбу: она не верила в эффективность судебной системы.

Мать то звонила каждый день, то пропадала на пару недель. Однажды после очередной отлучки она прожила у нас с Мамо несколько месяцев, искренне пытаясь наладить отношения, хоть и на свой манер: давала мне деньги на карманные расходы, причем больше, чем могла себе позволить. По каким-то причинам (мне их не понять) щедрость мать считала проявлением любви. Может, боялась, что я не оценю глубину ее чувств, если к ним не будет прилагаться увесистая пачка купюр…

Но на деньги мне было плевать. Я хотел лишь одного — чтобы она наконец завязала с наркотиками.

Никто из моих друзей не знал, что я живу у бабушки. У многих сверстников, конечно, были проблемы с родителями, однако моя семья даже в их глазах выглядела бы слишком нетрадиционной. Мы были бедны; и хотя Мамо этот статус носила с гордостью, мне приходилось нелегко. У меня никогда не было вещей от «Аберкромби энд Фитч»[39] или «Американ игл»[40]. Когда мать приезжала за мной в школу, я просил, чтобы она не выходила из автомобиля и не показывалась на глаза моим приятелям в своих мешковатых джинсах, мужской футболке и с ментоловой сигаретой во рту. Если кто-то спрашивал про мать напрямую, я врал: говорил, что мы с нею вместе присматриваем за больной бабушкой. Сегодня я очень жалею, что мои друзья и приятели не имели ни малейшего представления о том, какой чудесной была у нас бабуля и как много она для меня сделала.

В первом классе старшей школы я сдал «продвинутую математику» (гибрид тригонометрии, алгебры и математического анализа) на «отлично». Наш учитель, Рой Селби, прославился своим интеллектом и жесткими требованиями. За двадцать лет преподавания он не пропустил ни единого рабочего дня. По школе ходила байка, будто один из учеников как-то смастерил бомбу и спрятал ее в своем шкафчике. Всех эвакуировали, но пока ждали саперов, Селби вошел в класс, вскрыл шкафчик и выбросил сумку в мусорный бак. «Ваш террорист ходил ко мне на занятия, и я прекрасно знаю, что этому идиоту не хватит ума сделать нормальное взрывное устройство, — заявил он полицейским. — А теперь пусть все возвращаются в класс, пора писать контрольную».

Мамо обожала подобные байки и, хотя лично с Селби знакома не была, всегда им восхищалась и просила меня брать с него пример. Селби советовал ученикам приобретать мощные инженерные калькуляторы; самой продвинутой моделью тогда был TI-89[41]. Нам не хватало денег на мобильные телефоны и приличную одежду, но Мамо позаботилась о том, чтобы купить мне дорогущий калькулятор. Это заставило меня иначе взглянуть на ее систему ценностей и проявить к учебе больше рвения. Раз Мамо потратила целых сто восемьдесят долларов на какой-то гаджет (она не позволила мне расплатиться собственными карманными деньгами), значит, хочешь не хочешь, надо учиться. Я был ей обязан, и она постоянно об этом напоминала: «Ты уже доделал задание Селби?» «Нет, Мамо, еще не успел». «Шевелись давай! Я отвалила кучу денег за этот твой мини-компьютер не затем, чтобы ты весь день валялся на диване».

Те три года, что я провел с Мамо — без переездов и чужих людей вокруг, — меня спасли. Я сам не заметил, как изменилась

моя жизнь. Оценки понемногу стали лучше. Еще у меня — хоть тогда я этого не знал — появились верные друзья на всю жизнь.

Мы с Мамо начали обсуждать проблемы нашего общества. Мамо заставила меня устроиться на работу: мол, это пойдет мне на пользу и позволит понять цену деньгам. Сперва уговаривала, потом перешла к угрозам, и я устроился кассиром в местный супермаркет «Диллман».

Работа за кассой невольно превратила меня в социолога-любителя. Многие покупатели вели себя довольно странно. Наша соседка, например, всегда орала на меня из-за малейшего пустяка: что я не улыбнулся ей или что складывал продукты вперемешку в один пакет. Одни покупатели суетливо бегали по всему магазину, бестолково разыскивая нужный им товар. Другие ходили неспешно, по очереди вычеркивая строчки из списка покупок. Кто-то покупал только полуфабрикаты и консервы, кто-то выкладывал в тележку исключительно свежие продукты. Чем более усталым выглядел человек, тем больше он брал консервов — значит, скорее всего, он был бедняком. Еще я догадывался о доходах покупателей по одежде и по скидочным купонам, которые они предъявляли на кассе. Через несколько месяцев я как-то спросил у Мамо, почему детскую смесь покупают только бедняки. «Разве богатые люди не рожают детей?» Мамо не смогла мне ответить, а сам я догадался лишь несколько лет спустя: дело в том, что матери из обеспеченных обычно кормят детей грудью.

На работе я все больше узнавал о классовом делении американцев, а заодно начинал презирать и богачей, и представителей моего собственного класса. Владельцы «Диллмана» были людьми старомодными и позволяли обеспеченным людям брать продукты в кредит, сумма которого порой доходила до тысячи долларов. Я знал, что если кто-то из моего окружения задолжает магазину тысячу долларов, то ему в ту же секунду предъявят счет. Меня бесила одна мысль, что начальник считает моих родственников менее платежеспособными, чем тех, кто приезжает за покупками на «кадиллаке». Впрочем, я себя успокаивал: не переживай, Джей Ди, когда-нибудь и у тебя здесь будет кредит!

Еще я узнал, как ловко люди обманывают систему социального обеспечения. Например, берут две дюжины упаковок газировки по продуктовым талонам[42], а потом перепродают ее чуть дешевле, зато за наличку. Или просят разделить чеки, чтобы за продукты питания расплатиться талонами, а за пиво, вино и сигареты — наличными. И на кассе всегда размахивают мобильными телефонами! Я долго не мог понять, как так получается: почему мои родные еле сводят концы с концами, а

какой-то сброд, живущий за государственный счет, покупает новенькие гаджеты, которые нам не по карману?

Мамо внимательно выслушивала мои откровения. Мы стали с недоверием относиться к нашим собратьям по рабочему классу. Людям нашего круга приходилось несладко, но мы боролись: усердно работали и верили в светлое будущее. Беда в том, что вокруг было слишком много тех, кто довольствовался жизнью за счет государственных пособий и жил при этом получше нашего. Каждые две недели я получал зарплату и видел, как из нее вычитают федеральные и региональные налоги. При этом наш сосед-наркоман покупал бифштексы на косточке, которые я себе позволить не мог — и происходило это по воле дядюшки Сэма за мой счет.

К такой мысли я пришел уже в семнадцать лет, и хотя сейчас я стал несколько спокойнее, чем тогда, именно в тот момент я впервые задумался, что столь любимая бабушкой политика «партии рабочего человека» — то есть демократов — не так уж успешна, как кажется.

Политологи написали немало книг, пытаясь объяснить, как так вышло, что Аппалачи и Юг за одно поколение из демократов вдруг стали ярыми республиканцами. Многие винили расовые отношения и участие демократической партии в движении за гражданские права. Другие ссылались на специфику религиозной веры, социальный консерватизм и влияние, которое имели в этом регионе евангелисты. Однако, думаю, правда в том, что многие представители рабочего класса видели вокруг то же самое, что и я. Белые рабочие в 1970-е годы стали поддерживать Никсона по весьма простой причине, которую можно выразить одной емкой фразой: «Правительство платит людям, которые абсолютно ничего не делают ради нашего благосостояния! Мы пашем всю жизнь, а они над нами смеются!»[20] Примерно в то же время давний приятель Мамо и Папо, живущий по соседству, зарегистрировал свой дом в «Восьмой программе». «Восьмая программа» предлагает жителям с низкими доходами ваучеры на аренду жилья. Бабушкин сосед не мог сам платить за аренду, но когда он подал заявку на субсидию, Мамо сочла его предателем, потому что с его легкой руки в наш район могла двинуться «всякая шваль», тем самым снижая стоимость недвижимости.

Несмотря на все попытки провести грань между работающими и неработающими бедняками, мы с Мамо все-таки понимали, как много у нас общего с теми, кто обеспечил нашему классу дурную славу. Пользователи «Восьмой программы» были такими же, как и мы. Вскоре по соседству с бабушкой поселилась первая семья получателей субсидии. Глава семьи тоже родилась в

Кентукки, а в юности переехала на север вместе с родителями, искавшими лучшей жизни. После пары неудачных романов обзавелась ребенком, отец которого тут же исчез. Она была милой женщиной, как и ее дочь. Но слишком любила рецептурные лекарства и ночные скандалы. Мамо, увидев в ее доме, словно в зеркале, до боли знакомый образ, ожидаемо рассвирепела.

Так на свет появилась Бонни Вэнс, эксперт в области социальной политики. «Ленивая шлюха, ее бы на работу гнать метлой!», «Терпеть не могу ублюдков, которые дают всякому отребью деньги на переезд в наш уютный район!». Доставалось от бабушки и людям, которых мы встречали в продуктовом магазине: «Ума не приложу, почему работяги, которые всю жизнь пахали как проклятые, теперь сосут лапу, а всякие лоботрясы за наши налоги покупают выпивку и мобильники».

Моя добрая бабуля то ругала правительство за его чрезмерные старания, то возмущалась, что оно сидит без дела. Впрочем, власти всего лишь помогали малообеспеченным людям обустроить свой быт, и Мамо была рада, что бедняки хоть так получают нужную им поддержку. Сама «Восьмая программа» не вызывала у нее негодования, в душе Мамо по-прежнему оставалась демократкой. Порой она рассуждала о нехватке рабочих мест и возмущалась вслух, почему ее приятель никак не может найти в свою фирму нормального работника. В минуты наибольшей жалости она вопрошала, отчего наше государство позволяет себе авианосцы, но у него не хватает средств на новые лечебницы для наркоманов (вроде той, где проходила реабилитацию наша мать). Иногда критиковала богачей, которые не желают разделить с правительством бремя социального обеспечения граждан. Каждое неудачное голосование за внедрение налога на улучшение школьного образования (проект которого неоднократно выдвигался на обсуждение) заставляло ее обвинять наше общество в нежелании обеспечить детей вроде меня достойным будущим.

В общем, переменчивые настроения бабушки отражали весь спектр политических страстей Америки. Мамо бывала то радикальным консерватором, то социал-демократом по европейскому образцу. Из-за этого изначально я считал ее простушкой, и как только она открывала рот, принимаясь рассуждать о политике и реформах, тут же затыкал уши. Со временем я осознал, что в бабулиной противоречивости есть своя мудрость. Теперь, когда у меня появилась возможность оглядеться вокруг, я начал видеть мир глазами Мамо. Я был напуган, растерян, рассержен… Обвинял владельцев крупной торговой сети в том, что они закрыли магазины и перебрались за

границу — а затем понимал, что и сам на их месте поступил бы так же. Сперва проклинал правительство, которое ничего не делает, а потом с удивлением замечал, что при его поддержке становится только хуже.

Мамо могла браниться пуще инструкторов в военном лагере, однако то, что она видела в нашем обществе, ее не просто злило. Это разбивало ей сердце. За наркотиками, ночными скандалами и финансовыми проблемами стояли живые люди со своими бедами. Наши соседи, например, совершенно не умели радоваться жизни. Это было заметно по натянутой улыбке матери или по вульгарным шуткам девочки-подростка, которой обычно тут же затыкали рот. Я по собственному опыту знал, что скрывает под собой подобный пошлый юмор. Как гласит пословица: «Улыбайся и терпи». Мамо, как никто, это понимала.

Проблемы окружали нас повсюду. Всем соседям в той или иной мере выпала такая же участь, как и нашей Мамо. Ее беды были близки и знакомы многим людям, которые, как и мы, проехали тысячи миль в поисках лучшей жизни. Бабушка думала, что сбежала из нищего Кентукки, но от бедности — пусть не экономической, так духовной — сбежать она не смогла. В старости ее жизнь словно бы повернулась вспять: вокруг было то же самое, что и в Джексоне. Куда мы катимся? Какая судьба ждет дочку нашей соседки? Вряд ли с такой жизнью из девчонки выйдет что-то путное…

И тогда неизбежно вставал другой вопрос: а что будет со мной?

Ответов я не знал. Знал лишь одно: не все люди живут, как мы. Когда я бывал в гостях у дядюшки Джимми, то не просыпался по ночам от криков соседей. В районе, где жили тетушка Ви и Дэн, дома стояли в окружении подстриженных газонов, а полицейские, проезжая мимо, улыбались и махали тебе рукой вместо того, чтобы запихивать твоих соседей в патрульную машину.

Поэтому я неизбежно задумался: а чем же все-таки мы отличаемся от них — не только я и мои родные, а вообще все наши соседи, наш город и район, от Джексона до Мидлтауна? Когда мать несколько лет назад закатила во дворе истерику, а ее заковали в наручники, на арест вышли поглазеть все соседи, а я не стеснялся смотреть им в глаза и здороваться с друзьями. Подобные сцены мы наблюдали и прежде — то в одном дворе, то в другом… Такие события были в порядке вещей. Если у соседей поднимался вдруг крик, люди выглядывали из-за штор или сдвигали жалюзи. При громком скандале зажигали свет и выходили на крыльцо. Если дело доходило до драки, то являлась

полиция и у всех на глазах увозила пьяного отца или истеричку-мать в участок. Полицейский участок, кстати, находился в одном доме с налоговой инспекцией, предприятиями коммунального обслуживания и даже небольшим музеем, но все дети моего района называли то здание исключительно «мидлтаунской тюрьмой».

Я прочитал немало трудов по социальной политике в области поддержки малоимущих трудящихся. Особенно меня зацепило исследование выдающегося социолога Уильяма Джулиуса Уилсона «Истинно обездоленные». Мне было лет шестнадцать; и хотя я понял далеко не все, основной тезис сразу запал в душу. По мере того как миллионы людей мигрируют на север в поисках рабочих мест на заводах и фабриках, вокруг предприятий формируются сообщества, которые очень динамичны и нестабильны: если завод вдруг закрывается, люди попадают в ловушку, поскольку этот город или поселок уже неспособен содержать столь большое население. Те, кто может (как правило, образованные обеспеченные люди со связями), уезжают, бедняки же остаются, причем оставшиеся — «истинно обездоленные» — не могут найти хорошую работу и вынуждены жить в окружении, которое не способно предложить им социальную поддержку.

В своей книге Уилсон на удивление точно описал мой дом. Я даже хотел связаться с ним, сказать, насколько достоверный у него вышел образ. Правда писал он не про переселенцев из Аппалачей, а про темнокожих жителей южных городов. То же самое можно сказать о книге «Потерянная земля» Чарльза Мюррея — еще одном исследовании, описывающем темнокожих, но с равным успехом применимом и для хиллбилли; в нем рассказывается, как правительство поощряет социальный упадок через концепцию «государства всеобщего благосостояния»[43].

Однако несмотря на всю точность и глубину анализа, ни одна книга так и не дала ответов на терзавшие меня вопросы: почему наша соседка не выгонит мужа, который ее избивает? Почему она тратит деньги на наркотики? Почему не замечает, как ломает дочери жизнь? Почему все это происходит не только с ней, но и с моей матерью? Пройдут годы, и я узнаю, что ни одна книга, ни один эксперт не в состоянии в полной мере описать проблемы хиллбилли в современной Америке. Поэтому моя элегия прежде всего социологическая, хотя и не только; еще она поднимает вопросы психологии и обществоведения, культуры и веры.

Когда я учился в средней школе, наша соседка Пэтти позвонила арендодателю и сообщила, что в доме течет крыша. Тот приехал и обнаружил ее на диване в гостиной, полураздетую и в отключке. Наверху была переполнена ванна — отсюда и

«протекающая крыша». Видимо, Пэтти решила помыться, выпила несколько таблеток рецептурного обезболивающего и вырубилась. Водой затопило весь этаж, многие вещи пришлось выкинуть. Такова реальность нашего общества. Голая наркоманка, которая ломает все, что имеет в ее жизни маломальскую ценность. И дети, которые из-за материнской любви к наркотикам остаются без одежды и игрушек.

Другая наша соседка жила затворницей в большом розовом доме. На улицу она выходила лишь затем, чтобы покурить, ни с кем не здоровалась, и в окнах у нее никогда не горел свет. С мужем развелась, дети сидели в тюрьме. Она была очень толстой, просто необъятной — ребенком я считал, что она не выходит, потому что ей тяжело двигаться.

Чуть дальше по улице жила молодая женщина с ребенком и ее приятель, мужчина средних лет. Он работал, а она днями напролет смотрела «Молодых и дерзких»[44]. У них был чудесный сынишка, он очень любил Мамо. Частенько — порой даже за полночь — мальчик приходил к ней и просил еды. Его мать сидела дома, но у нее не было времени покормить ребенка, и тот шлялся по соседям. Бабуля однажды позвонила в службу опеки, надеялась, что хоть там помогут. Однако они ничего не сделали.

Лучшая подруга моей сестры жила в небольшом дуплексе со своей матерью (самой настоящей «королевой пособий»). У нее было семь братьев и сестер, причем почти все от одного отца, что у нас, к слову, считалось редкостью. Мать никогда в жизни не работала, только «размножалась» (как ехидно говорила Мамо). Поэтому у детей, разумеется, не было ни единого шанса стать достойными людьми. Одна из дочерей, например, завела себе любовника и родила ребенка в том возрасте, когда даже сигарет не купишь. А старший сын баловался наркотиками и, не успев окончить школу, загремел за решетку.

Таков был мой мир. Всех нас ждала богадельня. Мы покупали себе огромные телевизоры и айподы, а детям — дорогую одежду благодаря кредитам с грабительскими процентами и займам под залог будущей зарплаты. Мы покупали ненужное жилье, вкладывали бешеные деньги в его отделку, а потом объявляли себя банкротами и съезжали. Экономия — это было не для нас. Мы тратили деньги налево и направо, притворяясь высшим сословием. Потом приходили кредиторы, и кто-то из родственников выплачивал наши долги, потому что у нас за душой ничего не было. Ни средств на учебу детей, ни инвестиций в будущее, ни резервного фонда на черный день… Мы знали, что нельзя швыряться деньгами, корили себя — но ничего не могли с собой поделать.

В доме всегда царил бардак. Мы в полный голос кричали друг на друга, как фанаты на футбольном матче. В каждой семье обязательно кто-то сидел на наркотиках — отец или мать, иногда сразу оба. Чуть что мы лезли в драку, избивали друг друга на глазах остальной родни, включая детей, а соседи стояли под окнами и слушали, что происходит. Иногда терпение у них лопалось, и они вызывали полицию. Дети попадали в приемные семьи, но никогда там не задерживались. Мы просили у них прощения. Они нам верили — и мы сами верили, что исправимся. А затем через несколько дней все начиналось по новой.

Мы не учились в школе сами и не заставляли учиться наших детей. Они получали плохие оценки. Мы злились на них, но не пытались им помочь с учебой — например, наладить дома быт. Даже самых способных учеников ждал в лучшем случае местный колледж — и то, если им удавалось не сломать себе психику в домашних войнах. «Тебе не нужен Университет Нотр-Дам, — говорили мы. — Ты можешь получить приличное образование и здесь». Ирония в том, что беднякам учиться в Нотр-Даме гораздо выгоднее, чем дома, однако никто из нас этого не знал.

Мы предпочитали лежать на диване вместо того, чтобы искать работу. Если все-таки устраивались, то ненадолго. Нас увольняли за опоздания или за кражу товаров, или за то, что покупатель пожаловался на запах перегара, или за пять тридцатиминутных перерывов в одну смену… Мы говорили о том, как важна работа, а свое безделье оправдывали вселенской несправедливостью: мол, это Обама закрыл угольные шахты, и все рабочие места достались китайцам. Мы лгали себе, чтобы разрешить когнитивный диссонанс: увязать мир, который наблюдаем вокруг, с теми ценностями, которые нам проповедовали.

Мы говорили с детьми об ответственности, но никогда не показывали на своем примере, что именно нужно делать. Я, например, много лет мечтал о немецкой овчарке. Однажды мать все-таки купила щенка. Но это была уже четвертая наша собака, и я совершенно не умел их дрессировать. Поэтому спустя какое-то время щенка пришлось отдать в полицейский участок. Потеряв четвертого друга, становишься жестче. Понимаешь, что ни к кому нельзя привязываться.

Наш рацион питания и распорядок дня загоняли нас раньше срока в могилу. Причем в буквальном смысле: в некоторых районах Кентукки средняя продолжительность жизни составляет шестьдесят семь лет, что на полтора десятилетия меньше, чем в соседней Вирджинии. Недавние исследования подтверждают, что средняя продолжительность жизни белых рабочих — уникального

для Америки класса — постепенно снижается. На завтрак мы едим булочки с корицей из «Пиллсберри»[45], обедаем в «Тако Белл», а ужин покупаем в «Макдоналдсе». Готовим редко, хотя это полезно и для организма, и для души. Физкультурой занимаемся только в школе. Бегунов на наших улицах не встретить; вы увидите их, только уехав на учебу или военные сборы в другой регион.

Не все белые рабочие пытаются наладить свою жизнь. Еще в детстве я усвоил, что люди в зависимости от привычек и нравов делятся на две категории. Мои бабушка с дедушкой принадлежали к первой: старомодные, верные традициям, трудолюбивые… Моя мать и практически все соседи воплощали собой второй тип: замкнутые, злые, недоверчивые, помешанные на вещах.

Впрочем, было (и есть сейчас) много и тех, кто живет по кодексу моих бабушки и дедушки. Это заметно по мелочам: вот старик заботливо ухаживает за садом, когда все соседи позволяют своим домам гнить изнутри; вот молодая женщина, ровесница моей матери, приезжает каждый день, чтобы позаботиться о немощных родителях. Я не пытаюсь романтизировать образ моих бабушки и дедушки — у них, как уже было сказано, в жизни случалось немало бед, — просто хочу подчеркнуть, что многие не сидят сложа руки, что есть и те, кто стремится к лучшему. Были в нашем окружении и полные семьи, и тихие вечера, и вкусные домашние обеды, и старательные дети, верящие, что однажды обязательно осуществят «американскую мечту». Многие из моих приятелей неплохо устроились в жизни, обзавелись семьями: как в Мидлтауне, так и в других городах. Теперь у их детей, если верить статистике, больше поводов с надеждой глядеть в будущее.

Сам я жил будто между двумя мирами. Благодаря Мамо я видел вокруг не только разруху и отчаяние, но и надежду. Наверное, это меня и спасло. У меня были надежное пристанище и любящие объятия, тогда как соседские дети такой роскоши оказались лишены.

Однажды Мамо согласилась присмотреть в воскресенье за детьми тетушки Ви. Та привезла девочек рано утром. Я в тот день должен был выйти на смену с одиннадцати утра до восьми вечера, поэтому в десять сорок пять, поиграв немного с девочками, уныло побрел на работу. Мне ужасно не хотелось уходить от бабушки и племянниц. Я пожаловался Мамо на тоску в душе, а она вместо того чтобы по обыкновению рявкнуть: «Хватит ныть», — вдруг заявила, что и ей хотелось бы провести этот день в моей компании. То был редкий для нее момент искреннего

сочувствия. «Но раз тебе хочется воскресенье проводить с семьей, придется искать другую работу; следовательно, надо поступить в колледж и получить диплом». В этом и заключался ее гений. Мамо не только читала нотации, ругалась и приказывала. Она пользовалась любым случаем, чтобы направить меня в нужное русло, и подсказывала, как добиться того будущего, которого я хочу.

Есть немало научных исследований в области социальных наук, которые доказывают, какой важный положительный эффект имеет поддержка родных и близких. Могу перечислить с десяток работ, формулирующих причины, по каким бабушкин дом не только дал мне крышу над головой, но и позволил иначе взглянуть на будущее. Целые тома посвящены феномену «счастливых детей», которые, невзирая на обстоятельства, добивались успеха, потому что им обеспечили социальную поддержку. Однако я и без книг знаю, что Мамо сыграла в моей жизни важную роль: не потому что так говорит какой-то гарвардский психолог, а потому что сам это чувствую. Взгляните на мою жизнь до того момента, как я перебрался к бабушке. В середине третьего класса мы вместе с Бобом переехали из Мидлтауна в округ Прейбл; к концу четвертого класса вернулись в Мидлтаун и заняли дуплекс на Маккинли-стрит; в конце пятого класса переехали в соседний квартал, а вместо Боба появился Чип. Еще через год Чипа сменил Стив (и зазвучали разговоры о том, чтобы к нему переехать); в конце седьмого класса место Стива занял Мэтт, и мать затеяла переезд в Дейтон, рассчитывая, что я переберусь вместе с ней. К концу восьмого класса она поставила вопрос ребром, и я, прожив пару месяцев с отцом, вынужден был уступить. В девятом классе мы жили вместе с Кеном и его детьми. Учтите проблемы с наркотиками, судебный процесс, внимание служб опеки и смерть Папо.

Сегодня воспоминания о том времени вызывают у меня дрожь. И не только у меня. Не так давно я заметил в Фейсбуке, как одна моя приятельница (знакомая по старшей школе, тоже урожденная хиллбилли) постоянно меняет парней: заводит новые знакомства и тут же рвет отношения; выкладывает фотографии с одним мужчиной, через три недели уже с другим; в общем, торопится похвастать в социальных сетях новым бойфрендом, пока очередной интрижке не пришел конец. Она моя ровесница, у нее четверо детей, и когда она в который раз заявила, что наконец-то нашла достойного мужчину, ее тринадцатилетняя дочь не выдержала и написала: «Хватит! Когда уже ты угомонишься?» Прекрасно понимаю эту девочку: кому, как не мне, знать, что она чувствует! В ее годы я тоже мечтал лишь об

одном — чтобы у меня был свой дом без посторонних людей.

А теперь посмотрим, что происходило после того, как я переехал к Мамо. В десятом классе я жил с бабушкой. В одиннадцатом классе я жил с бабушкой. В двенадцатом классе я жил с бабушкой. Только мы двое — и никого больше. Мамо дала мне надежное пристанище, чтобы в тишине и безопасности заниматься своими делами. Никаких драк и скандалов, значит, можно сосредоточиться на учебе и работе. Проведя столько времени в тесном общении с одним человеком, потом я запросто налаживал контакты в школе и университете. Еще бабуля заставила меня устроиться на работу, и благодаря этому я иначе взглянул на свое окружение и отчетливо понял, чего хочу от жизни.

Уверен, что социолог и психолог, объединив усилия, запросто объяснили бы, почему я вдруг потерял интерес к наркотикам. Почему мои оценки стали лучше, и как мне удалось успешно сдать академический оценочный тест[46] а еще найти учителей, которые сумели пробудить во мне любовь к учебе… Но это не главное; главное, что годы с бабулей оставили в моей душе ощущение счастья — я больше не боялся школьного звонка, знал, где буду жить через месяц, и был уверен, что чужая интрижка не вывернет опять мою жизнь наизнанку. Именно это чувство помогало мне в будущем, следующие двенадцать лет, принимать судьбоносные решения.

Глава десятая

На последнем году учебы я решил попробовать себя в гольфе и стал брать уроки у одного старого игрока-профессионала. Предыдущим летом я сменил работу и устроился в местный гольф-клуб, так что мог тренироваться бесплатно. Мамо никогда не проявляла интереса к спорту, но мое увлечение одобрила, потому что «именно так богатенькие бизнесмены решают свои дела». Пусть Мамо во многом была мудрой женщиной, о привычках богачей она знала мало, и я не постеснялся ей об этом сказать. «Заткнись, придурок! — рявкнула она. — Всем известно, что богатые люди обожают гольф!» Однако когда я вздумал тренироваться дома (без мячика, поэтому только царапал зря пол), она тут же велела прекратить и не портить ей ковры. «Мамо, — язвительно запротестовал я, — как же мне в будущем решать деловые вопросы за партией в гольф, раз я не умею играть, а ты не даешь мне учиться? С тем же успехом я могу бросить школу и сразу устроиться в магазин кассиром». «Умник какой выискался! Если бы не нога, встала бы и надавала тебе по башке и заднице!» — возмутилась бабка.

И все же она помогла мне найти средства на уроки гольфа и попросила своего брата (дядюшку Гэри, младшего из Блантонов) подобрать мне старые клюшки. Он раздобыл неплохой набор от «Макгрегора» — лучшее, что можно достать за наши деньги, и я стал тренироваться в любую свободную минуту. К началу первых турниров я уже неплохо освоился на поле.

В школьную команду я так и не попал, хотя показал неплохие результаты и заслужил право тренироваться вместе с друзьями, которые прошли отбор. Впрочем, на большее я и не рассчитывал. Я убедился, что Мамо права: гольф — и впрямь игра для богатых. В моем клубе не было ни единого клиента из рабочих кварталов. В первый день игры я надел классические туфли, решив, что это самая подходящая обувь для гольфа. Один парень заметил мои коричневые лоферы еще в стартовой зоне и всю игру, целых четыре часа, издевательски меня высмеивал. Ужасно хотелось шарахнуть его клюшкой по лбу, но я держался, вспоминая мудрые бабушкины слова: «Что бы ни случилось, веди себя как ни в чем не бывало». (К слову, о злопамятности хиллбилли: Линдси недавно вспоминала ту историю и долго возмущалась, каким дебилом был тот парень. Хотя с тех пор прошло без малого тринадцать лет!)

В глубине души я знал, что мне нужно делать после школы, ведь все мои друзья собирались поступать в колледж. Такие

друзья, кстати, у меня были во многом благодаря Мамо. В седьмом классе мои тогдашние приятели уже курили травку, и Мамо, узнав об их пристрастиях, строго-настрого запретила с ними общаться. Многие подростки наверняка пропустили бы ее слова мимо ушей — но попробуйте ослушаться Бонни Вэнс! Она пообещала, что если хоть раз увидит рядом со мной кого-нибудь из старых приятелей, то переедет его на машине. «И ни одна живая душа не узнает, что это была я!» — зловещим шепотом добавила она.

В общем, все друзья собирались в колледж, и я тоже. На экзаменах я получил достаточно высокие баллы, чтобы компенсировать прежние плохие оценки. Однако всерьез можно было рассчитывать лишь на два учебных заведения: Университет штата Огайо и Университет Майами. За несколько месяцев до поступления я без лишних раздумий остановил свой выбор на Огайо. Из колледжа по почте прислали огромный пакет со всякими документами, которые необходимо было заполнить студентам, рассчитывающим на финансовую поддержку от государства. Гранты Пелла[47], субсидированные займы, несубсидированные займы, стипендии, совмещение работы и учебы — все это было очень волнительно… если бы только мы с Мамо понимали вдобавок, что вообще значит эта тарабарщина. Мы часами ломали над документами голову, пока наконец не подсчитали, что за ту сумму, в которую обойдется мне учеба, можно купить в Мидлтауне целый дом! Причем мы еще не начали заполнять бланки — чтобы разобраться в формулировках, потребовался бы не один день!

От волнения меня бросало в дрожь; приходилось постоянно напоминать себе, что колледж откроет дорогу в будущее. «Диплом — это единственная хрень, на которую действительно есть смысл тратить деньги», — говорила Мамо. Она была права, но я переживал не столько из-за финансовой стороны вопроса, сколько по другой причине: к колледжу я совершенно не был готов! Не все инвестиции приносят прибыль. Отвалить такую гору денег — и за что? Чтобы ночи напролет пить на вечеринках и с треском вылететь после первого семестра? Для учебы в колледже нужна железная сила воли, а у меня ее нет!

Мои достижения в школе оставляли желать лучшего: я прогуливал, опаздывал, увиливал от общественной нагрузки… В старших классах, конечно, взялся за ум, однако оценки по непрофильным предметам все равно оставляли желать лучшего, выдавая во мне ученика, совершенно не готового к дальнейшей учебе. Пока мы изучали документы, я никак не мог отделаться от ощущения, что мне предстоит слишком долгий и тернистый путь.

В колледже меня пугало все: от здорового питания до необходимости самому оплачивать счета. Я понятия не имел, как буду жить один. Зато знал, чего хочу от будущего. Знал, что хочу получить образование, найти достойную работу и дать моей будущей семье то, чего у самого меня никогда не было. Я просто не решался сделать первый, самый важный шаг в жизни. Именно тогда моя кузина Рейчел, в свое время отслужившая в армии, предложила подумать о морской пехоте: «Там из тебя мигом выбьют всю дурь». Рейчел была старшей дочерью дядюшки Джимми и, следовательно, главной в нашем поколении внуков. Все мы, даже Линдси, на нее равнялись, поэтому слова Рейчел имели большой вес.

За год до этого случился теракт 11 сентября; как и любой уважающий себя хиллбилли, я решил отправиться на Ближний Восток и убивать террористов. Однако перспективы воинской службы: злые инструкторы, постоянные тренировки, разлука с родными — быстро отвадили меня от этой мысли. Служба в армии казалась такой же далекой, как и полеты на Марс, — пока Рейчел вдруг не предложила мне подумать всерьез (втайне намекая, что я справлюсь). Поэтому накануне внесения первого депозита за учебу в Университете штате Огайо все мои мысли были заняты исключительно морской пехотой.

И вот однажды мартовским днем в субботу я вошел в кабинет вербовщика и спросил, что нужно делать. Вербовщик не стал заговаривать мне зубы. Он честно сказал, что больших денег в армии я не заработаю, но запросто могу сложить голову в бою. «Зато там тебя научат дисциплине и лидерским качествам», — добавил он. Это пробудило во мне еще больший интерес, хотя сама мысль о «Джей Ди — морском пехотинце» все равно казалась дико странной. Я был пухлым мальчишкой с длинными волосами. На уроке физкультуры во время пробежек не мог одолеть и половину дистанции. Любил поваляться в постели. А в армии подразумевалось, что я каждый день буду вставать в пять утра и пробегать с десяток миль до завтрака!

Я отправился домой и стал обдумывать варианты. Напомнил себе, что моя страна во мне нуждается и потом я буду сожалеть, что не поддержал ее в новой войне. Еще вспомнил про Билль о солдатских правах[48]. По правде говоря, выбор передо мной стоял довольно простой: или колледж за огромные деньги, или безделье, или морская пехота. Первые два варианта меня не устраивали. Я сказал себе, что четыре года в морской пехоте позволят мне стать тем, кем я всегда мечтал быть. Правда покидать родных по-прежнему не хотелось. Линдси только что родила второго ребенка — очаровательную девочку — и ждала

третьего. Старший племянник был еще крохой, как и дети Лори. Чем больше я раздумывал, тем больше сомневался. В какой-то момент понял, что если буду тянуть и дальше, то просто себя отговорю. Поэтому две недели спустя, когда кризис в Ираке окончательно обернулся войной, я поставил на документе подпись, тем самым пообещав отдать корпусу морской пехоты четыре следующих года своей жизни.

Сперва все мои родственники насмешливо фыркали. Какой из меня морской пехотинец? Люди не стеснялись говорить мне об этом в лицо. И лишь осознав, что я совершенно серьезен, ужасно заволновались. Особенно Мамо. Она перепробовала все аргументы: «Ты идиот: тебя там разжуют и выплюнут!», «А кто будет заботиться обо мне?», «Для армии ты слишком глуп», «Для армии ты слишком умен», «Разве ты не хочешь быть с детками Линдси?», «Мальчик мой, мне страшно, я не хочу, чтобы ты уходил». Незадолго до сборов к нам приехал вербовщик. Моя милая бабуля встретила его на крыльце с ружьем наперевес. «Только шагните за порог — и я отстрелю вам ногу», — предупредила она. Позднее он признался, что принял ее обещание за чистую монету. Поэтому разговаривали они через забор.

По дороге в тренировочный лагерь я боялся не того, что меня убьют в Ираке или что я выставлю себя хлюпиком и трусом. Когда мать с Линдси и тетушкой Ви провожали меня до автобуса, который должен был отвезти новобранцев в аэропорт, а оттуда — в лагерь, я думал совсем о другом: представлял, какой станет жизнь четыре года спустя. И видел, что в этой новой жизни рядом уже не будет бабушки. В глубине души я знал: она не протянет еще четыре года. Мне никогда не вернуться домой. Дом в Мидлтауне — это прежде всего Мамо. А когда я закончу службу, ее уже не будет в живых…

Служба в тренировочном лагере длится тринадцать недель; каждые семь дней учат чему-то новому. Когда мы прибыли на остров Пэррис, штат Южная Каролина, у самолета нас встретил сердитый инструктор. Он велел нам сесть в автобус, затем после непродолжительной поездки уже другой инструктор велел вылезти и встать на дорогу со знаменитыми «желтыми следами». Следующие шесть часов в меня тыкали иголками на медосмотре, обривали налысо, выдавали форму и снаряжение. Нам разрешили сделать один телефонный звонок, и разумеется, я позвонил Мамо. Зачитал ей текст с записки, которую мне выдали: «Мы успешно долетели до острова Пэррис. В ближайшее время сообщу адрес. Пока». «Постой, дурень! Ты как вообще: все хорошо?» «Прости, Мамо, я не могу говорить. Да, все хорошо. Напишу при первой же

возможности». Инструктор, услышав мой разговор, с ухмылкой спросил, успела ли бабуля рассказать мне сказку на ночь. Так прошел мой первый день в армии.

Телефоны в лагере были под запретом. Позвонить разрешили только один раз — сестре, когда у нее умер сводный брат. Зато меня буквально заваливали письмами. Большинство рекрутов (нас так называли, потому что звание морского пехотинца еще надо было заслужить) получали письма довольно редко, мне же каждый день вручали толстую пачку свежей корреспонденции. Мамо писала ежедневно, порой по несколько писем за раз, изливая на бумагу свои мысли о несовершенстве мира. В ответ ей хотелось знать, как проходят мои дни. Вербовщики говорили родным, что рекрутам очень нужна поддержка семьи, и Мамо взялась за дело с большим энтузиазмом. Снося оскорбления и изнурительные тренировки, к которым мой слабый организм оказался совершенно не готов, каждый вечер я читал о том, как гордится мною бабушка, как она любит меня и верит, что я ни за что не сдамся. Я не выбросил ни одного ее письма благодаря то ли природной мудрости, то ли семейной тяге к накопительству.

Мать постоянно спрашивала, не надо ли мне чего, и повторяла, как мною гордится. «Присматривала за детьми [Линдси], — пишет она в одном письме. — Они играли со слизняками на улице. Одного раздавили. Я его выбросила, а детям сказала, что он уполз, потому что Кэм от жалости стал плакать». Такой была наша мать в лучшие минуты жизни: любящей и веселой, проявляющей искреннее сочувствие. Она разделяла общепринятые нормы морали. Вот, например, она рассказывает о судьбе одной из своих подруг: «Тэрри, мужа Мэнди, наконец-то отправили за решетку. Так что у нее теперь все хорошо».

Линдси тоже писала очень много: она присылала в одном конверте по несколько писем за раз на бумаге разного цвета и с инструкциями на обороте: «Это читай первым, а это в последнюю очередь». В каждом письме говорилось о детях. Я узнал, что моя старшая племянница научилась ходить на горшок, племянник играет в футбол, а младшенькая уже улыбается и держит голову. Почти в каждом ответном письме я просил сестру поцеловать малышей и сказать, как сильно я их люблю.

Впервые оказавшись вдали от родных, я многое узнал о себе и о своей культуре. Вопреки общепринятому мнению, армия — это вовсе не прибежище для выходцев из нищих семей. Среди шестидесяти девяти членов моего взвода были и черные, и белые, и латиноамериканцы; обеспеченные парни из северного Нью-Йорка и бедняки из Западной Вирджинии; католики, евреи,

протестанты и атеисты.

Естественно, меня тянуло к таким же, как я. «Сдружился с одним парнем из Кентукки, из округа Лесли, — рассказывал я родным в первом письме. — Но говорит он так, будто родом из Джексона. Я сказал ему, что это чушь, будто у католиков, мол, больше свободного времени. Просто у них так устроено церковное расписание. А он словно из глухой деревни, берет и спрашивает: “А кто они вообще такие — эти католики?” Я объяснил, что это разновидность христианства, и он ответил: “Может, и мне к ним переметнуться?”». Мамо сразу поняла, кто он такой: «Да, в той части Кентукки до сих пор многие не прочь потискать змей[49]», — ответила она, шутя лишь отчасти.

В разлуке Мамо проявляла несвойственную ей слабость. Получая от меня письма, она всякий раз звонила тетке или сестре и требовала, чтобы те, бросив все дела, примчались и помогли разобрать мои каракули. «Люблю тебя, хоть ты и дурень, скучаю и все время забываю, что тебя здесь нет, кажется, что ты вот-вот спустишься а я на тебя как всегда заору, такое чувство, будто ты в доме. Сегодня опять болят руки, артрит наверное… Потом еще напишу, а ты пока береги себя». В письмах Мамо всегда не хватало запятых, а еще она частенько вкладывала в конверт статьи из «Ридерс дайджест», чтобы я не скучал.

Она по-прежнему оставалась нашей Мамо: вспыльчивой и ужасно заботливой. Спустя где-то месяц после начала тренировок я огрызнулся на одного инструктора, и тот, отведя меня в сторонку, заставил отжиматься, приседать и бегать, пока я не рухнул без сил. Обычная ситуация для тренировочного лагеря; каждый рекрут не раз через нее проходил. Мне даже повезло, что я протянул без наказаний целый месяц. «Дорогой Джей Ди, — написала бабушка, узнав о том случае. — Должна признаться, я давно ждала, когда эти ублюдки начнут над тобой измываться — и вот оно, свершилось! Просто знай, что ты у меня умничка. Пусть этот урод с мозгами олигофрена и дальше корчит из себя крутого засранца, а сам носит под формой женские труселя. Чтоб они все сдохли!» Прочитав этот язвительный пассаж, я решил было, что Мамо излила всю свою злость, но в следующем письме она по-прежнему плевалась ядом: «Привет, сладкий мой! Только и думаю, что о том, как эти подонки на тебя орут, хотя это можно только мне. Шучу! Помни, ты самый умный мальчик на свете и многого добьешься, в отличие от этих дебилов. И они это прекрасно знают. Ненавижу их! Чтоб у них кишки отсохли! Короче, знай, что их вопли — просто игра… Ты будешь умничкой и всем им покажешь». В общем, меня даже с другого конца страны поддерживала самая закоренелая и вредная хиллбилли всех

времен.

Во время приемов пищи рекрутам приходилось демонстрировать чудеса тайм-менеджмента. Сперва с подносом в руках ты становишься в очередь. Персонал вываливает тебе на тарелку что попало, а ты боишься открыть рот и попросить чего-то определенного. Впрочем, обычно к этому часу ты столь голоден, что сожрал бы и дохлую лошадь. Ты садишься и, не глядя на тарелку (это непрофессионально) и не двигая головой (еще более непрофессионально), закидываешь в себя еду, пока не объявили построение. Весь процесс занимает не более восьми минут, и если ты не успел набить желудок, то будешь потом мучиться от голода (а если успел — то от несварения, что по ощущениям одно и то же).

Отдельно подавали лишь десерт; он лежал на блюдечках в конце стола раздачи. В свой самый первый день в лагере я схватил кусок пирога и направился к столу. Однако инструктор, тощий белый парень из Теннесси, преградил дорогу, уставился на меня мелкими глазенками и ласково спросил: «Тебе правда хочется пирожочка, да, жирдяй?» Пока я думал, что ответить, он выбил тарелку у меня из рук и пошел искать новую жертву. В общем, пирог я больше не брал.

Это был очень важный урок — но отнюдь не принципов здорового питания. Никогда бы не поверил, что в ответ на оскорбление я молча соберу с пола мусор и сяду за стол. Детские переживания заставили меня потерять в себе уверенность. Вместо того чтобы радоваться очередному успеху, я с ужасом ждал следующего испытания. Однако в тренировочном военном лагере, где испытания подстерегают на каждом шагу, я научился ценить свои достижения.

Корпус морской пехоты постоянно испытывает тебя на прочность. Никто не обращается к тебе по имени. Запрещено даже говорить про себя «я», потому что индивидуальности здесь не место. Любая фраза начинается со словосочетания «этот рекрут»: «Этот рекрут хочет отлучиться в уборную», «Этот рекрут должен посетить санитара (то есть врача)». Парней с татуировками и вовсе без конца обливают помоями за такую дурость — явиться в тренировочный лагерь с рисунками на теле. Новобранцам на каждом шагу напоминают, что они пустое место, пока не закончат учебку и не получат звания морского пехотинца. В нашем взводе было восемьдесят три человека; к концу тренировок осталось лишь шестьдесят девять. Те, кто бросил учебу (прежде всего по медицинским показаниям), лишний раз послужили примером, что звание военного еще надо заслужить.

Каждый раз, когда инструктор орал на меня, а я гордо сносил

оскорбления, или когда у меня получалось прийти на пробежке не последним, или когда я мог сделать что-то и вовсе немыслимое (например, взобраться по канату), я делал очередной шажок к тому, чтобы поверить в себя. Есть такое состояние — психологи называют его «привычкой к беспомощности», — когда человек уверен, что любой его выбор никак не повлияет на результат. Так вот, вся моя жизнь — что родной город, приучавший своих жителей не ждать от судьбы многого, что родительский дом с его вечным бардаком — убеждала меня, будто сам я ничего не решаю. Мамо и Папо старались внушить мне, что на самом деле это не так, а учебный лагерь пехотинцев дал под ногами твердую почву. Дома я привыкал к беспомощности, здесь обретал характер.

День, когда я окончил учебку, навсегда останется в моей памяти. На выпуск заявилась целая толпа хиллбилли — восемнадцать человек, включая Мамо в инвалидной коляске под грудой одеял. За это время она съежилась и иссохла. Я показал родным базу — с таким чувством, будто выиграл в лотерею, — а следующим утром, когда мне дали десять дней отпуска, все мы отправились в Мидлтаун.

В первый же день я пошел в парикмахерскую, которой владел старый приятель моего деда. Морские пехотинцы должны быть коротко стрижены, и мне не хотелось расслабляться даже в отпуске. Парикмахер — один из последних представителей профессии — впервые приветствовал меня как взрослого. Я сидел в кресле, рассказывал похабные анекдоты (которые сам услышал буквально накануне) и говорил о лагере. Оказалось, что старика в мои годы тоже призывали в армию, он сражался с корейцами, поэтому мы обменялись шуточками про морскую пехоту. После стрижки он отказался брать с меня деньги и велел себя беречь. Я стригся здесь и прежде и вообще предыдущие восемнадцать лет ходил мимо парикмахерской едва ли не каждый день. Но впервые ее владелец пожал мне руку и заговорил как с равным.

После лагеря таких случаев было немало. Каждая встреча в Мидлтауне становилась открытием: я похудел на сорок пять фунтов, поэтому люди с трудом меня узнавали. Мой лучший друг (и будущий шафер) Нейт долго присматривался ко мне, когда мы столкнулись в местном магазинчике и я протянул ему руку. Может, я не только изменился внешне, но и стал иначе себя вести… Не знаю. Так или иначе, в глазах моего родного города я теперь был совсем другим.

Мидлтаун, впрочем, тоже успел для меня измениться. Многие продукты, которые я охотно ел прежде, в рационе морского пехотинца выглядели неуместными. В доме Мамо любая еда

жарилась в большом количестве масла. Теперь же бутерброд с копченой колбасой на жареном тосте с раскрошенными чипсами вызывал изжогу. Ежевичный пирог, прежде считавшийся крайне полезным блюдом, как и все, сделанное из ягод и зерна (то есть муки), выглядел не столь уж и аппетитным. Я стал задумываться над непривычными вопросами: есть ли здесь сахар? много ли в мясе насыщенных жиров? а сколько соли? В какой-то момент я вдруг понял, что Мидлтаун никогда не станет для меня прежним. За несколько месяцев корпус морской пехоты круто изменил мои взгляды.

Вскоре я вернулся на службу, и жизнь в родном доме опять потекла без меня. Я старался приезжать как можно чаще и благодаря праздникам и отпускам видел родных каждые несколько месяцев. Дети всякий раз немного подрастали. Вскоре после моего отъезда мать перебралась жить к бабушке. Здоровье Мамо пошло на поправку: она встала на ноги и вообще набралась сил. Линдси и тетушка Ви со своими родными были здоровы и счастливы. Больше всего я боялся, что, пока меня нет, в доме случится какая-то беда, а я не сумею им помочь. К счастью, все шло гладко.

В январе 2005 года я узнал, что летом мой взвод должны отправить в Ирак. Когда я сообщил новости Мамо, она долго молчала, а после нескольких секунд гробовой тишины заявила, что мечтает об одном: чтобы война закончилась быстрее, чем меня туда отошлют. Больше про Ирак мы никогда не говорили, хотя общались по телефону каждые несколько дней.

Зима постепенно сменялась весной, приближалось лето. Я понял, что Мамо не хочет ни говорить, ни думать про Ирак, и уважил ее решение.

Мамо была очень старой, слабой и больной женщиной. Любимый внук уехал от нее на другой конец страны, а вскоре мог и вовсе сложить голову на войне. Здоровье у нее пошло на поправку, но она по-прежнему принимала кучу лекарств и каждый квартал ложилась в больницу. Когда в «АК Стил», где бабушка страховалась после смерти Папо как вдова работника, решили увеличить ее страховой взнос на триста долларов, Мамо пришла в отчаяние. Она едва сводила концы с концами, ей просто неоткуда было взять такую прорву денег. Однажды она проболталась мне, и я тут же предложил ей перечислять триста долларов со своего армейского жалования. Она никогда не брала с меня ни цента, но в этот раз все-таки согласилась — видимо, и впрямь была в безвыходной ситуации.

Я получал не так уж много — после уплаты налогов оставалось около тысячи долларов, зато армия давала мне крышу

над головой и пропитание, так что в деньгах я не нуждался. Еще я промышлял онлайн-покером.

Покер всегда был моей страстью, я с юных лет играл на центы и даймы с Папо и двоюродными дедами. Теперь же я проводил в онлайн-казино по десять часов в неделю, играя с небольшими ставками, и тем самым зарабатывал еще четыреста долларов в месяц. Хотел сперва откладывать эти деньги, однако решил отдавать их Мамо на медицинскую страховку. Мамо, правда, опасалась моей страсти к азартным играм и в красках представляла, как я сижу за игорным столом в каком-нибудь гнилом трейлере среди шпаны, но я уверял, что все вполне легально и анонимно. «Ты же знаешь, я в этом вашем Интернете ничего не смыслю. Главное, не вздумай пить и шляться по бабам! Не будь как те дебилы, которые увлекаются азартными играми!»

Мы с Мамо очень любили вторую часть «Терминатора». Пересматривали его раз пять или шесть. Мамо видела в Арнольде Шварценеггере живое воплощение «американской мечты»: сильный красавец-иммигрант, который многого добился в жизни. А я воспринимал фильм как метафору собственной жизни. Мамо всегда была моим защитником, моим телохранителем — терминатором, если хотите. Как ни пинала меня жизнь, все заканчивалось хорошо, потому что на выручку приходила бабуля.

Оплачивая ей страховку, я сам впервые в жизни почувствовал себя сильным. И это чувство принесло невероятное удовлетворение. Прежде у меня никогда не было денег. Теперь же, приезжая домой, я мог сводить мать в ресторан, угостить племянников мороженым и купить хорошие рождественские подарки сестре. Однажды мы с Мамо взяли старших детей Линдси и поехали в национальный парк «Хокинг-Хиллс», очень уютное местечко в Аппалачах; там нас встретили тетушка Ви и Дэн. Я сам всю дорогу вел машину и под одобрительным взглядом тетушки Ви расплатился по счету в ресторане. Чувствовал себя мужчиной, настоящим взрослым. Сумел развлечь родных и накормить их вкусным обедом за свой счет — словами не передать, как я был в тот момент доволен.

Всю жизнь меня раздирали два чувства: страх (в худшие моменты) и смирение (когда все шло относительно гладко). Либо за мной гонялся плохой терминатор, либо приходил на выручку хороший. Я никогда не чувствовал себя сильным; никогда не верил, что у меня есть способности и воля заботиться о других. Мамо могла сколь угодно говорить об ответственности, о значении упорного труда, о том, как важно помогать другим, не ища себе оправданий… Никакие разговоры и проповеди не позволили бы мне понять, каково это — не искать спасения, а

протягивать руку помощи окружающим. Этому я должен был научиться сам.

В апреле 2005 года нам предстояло отпраздновать семьдесят второй день рождения Мамо. За пару недель до этого я стоял в торговом центре «Уолмарт» и ждал, пока механики поменяют мне в машине масло. Позвонил бабушке по новому телефону, который приобрел на собственные деньги; она рассказала, что накануне приглядывала за детьми Линдси. «Меган такая прелесть. Я ляпнула, что она навалила дерьма в горшок, а той понравилось, и она стала за мной повторять. Три часа твердила одно и то же: “Дерьма навалила, дерьма навалила, дерьма навалила”. Я просила ее замолчать, а то мне влетит, но она не унималась». Я рассмеялся, сказал Мамо, что очень ее люблю и что уже выслал ей чек на триста долларов. «Джей Ди, спасибо тебе, мальчик! Я тобой горжусь!»

Спустя два дня, в воскресенье, меня разбудил звонок телефона. Звонила сестра: у бабушки отказали легкие, она в больнице, в коме, и я должен немедленно ехать домой. Через два часа я сидел в машине, на всякий случай, предчувствуя неизбежное, захватив с собой парадную униформу. По дороге из Западной Вирджинии меня остановила полиция — оказалось, что я превысил скорость: ехал девяносто четыре мили в час. Патрульный спросил, куда я так гоню; я рассказал про бабулю, а он, выписывая штраф, вдруг предупредил, что следующие семьдесят миль, до самого Огайо, на шоссе нет камер. Я взял талончик, от души поблагодарил патрульного и до самой границы гнал уже сто две мили в час. Дорогу, которая обычно занимала тринадцать часов, я преодолел за одиннадцать.

Когда я прибыл в окружную больницу Мидлтауна, возле бабушкиной кровати собралась вся семья. Мамо была в коме, на аппарате искусственной вентиляции легких. Лечение не помогало. Она не приходила в сознание, и врач сказал, что будить ее не стоит; и вообще не факт, что она очнется.

Несколько дней мы прожили, затаив дыхание: ждали, когда инфекция отступит под натиском лекарств. Однако количество лейкоцитов росло, органы один за другим отказывали. В какой-то момент врач объявил, что без аппарата искусственной вентиляции легких и системы внутривенного питания ей уже не жить. Посовещавшись, мы решили, что, если через день лейкоциты по-прежнему будут зашкаливать, отключим аппаратуру. Юридически решение должна была принимать тетушка Ви, и она в слезах спросила меня, правильно ли так поступать. Я уверен, что решение она — все мы — тогда приняла верное. Жаль, у нас в семье не было врачей, чтобы развеять наши

сомнения.

По словам врача, без вентиляции легких Мамо умерла бы через пятнадцать минут, максимум через час.

Однако бабуля продержалась целых три часа, сражаясь до последнего. Все мы — дядюшка Джимми, мама и тетушка Ви, Линдси, Кевин и я — были рядом. Собрались возле кровати, по очереди говорили ей на ухо о своей любви, надеясь, что она нас слышит. Когда пульс замедлился, мы поняли, что час близок; я наугад открыл Библию Гедеоновых братьев[50] и начал читать. Мне попалось «Первое послание к коринфянам», глава 13, стих 12: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан».

Через несколько минут Мамо умерла.

Я не плакал ни в тот день, ни позднее. Тетушка Ви и Линдси сперва неодобрительно качали головой, потом встревожились. «Не держи горе в себе, — говорили они. — Надо выплеснуть его, иначе сорвешься».

В душе я выл от боли, но наша семья была на грани краха, и мне хотелось хотя бы внешне выглядеть сильным. Все мы помнили, что происходило с матерью после смерти Папо. Бабушкина смерть вызвала немало хлопот: следовало уладить вопросы с ее имуществом, выяснить про все ее долги, оплатить их. Дядюшка Джимми, узнав, как дорого бабушке обходилась наша мать (та оплатила реабилитацию дочери и не раз давала ей «займы», которые никогда не возвращались), рассвирепел и с того дня оборвал с Бев любое общение. Для тех же, кто был наслышан о щедрости Мамо, ее финансовое положение сюрпризом не стало. Папо четыре десятилетия работал не покладая рук, однако единственным наследством, что нам досталось, был дом, который они с Мамо купили более полувека назад, причем большая часть его стоимости ушла на оплату многочисленных долгов. К счастью, на дворе стоял 2005 год, когда рынок недвижимости процветал. Если бы Мамо умерла в 2008 году, проще было бы объявить ее банкротом.

В своем завещании Мамо разделила наследство на троих детей, правда не без хитрости: доля нашей матери досталась нам с Линдси. Мать, разумеется, закатила истерику. Я был занят решением финансовых вопросов и общением с родственниками, которых давно не видел, поэтому не сразу обратил внимание, что она медленно погружается в то же состояние, в каком была после смерти отца. Впрочем, не заметить грузовой поезд, когда тот со свистом на всех парах несется в твою сторону, невозможно.

Как и Папо, бабушка хотела бы панихиду в Мидлтауне, чтобы

все ее друзья из Огайо могли собраться и отдать ей дань уважения. Однако упокоиться навек она предпочла бы в Джексоне. Поэтому после панихиды похоронная процессия отправилась в Кек, неподалеку от того места, где родилась Мамо — к семейному кладбищу. В наших преданиях Кек занимал очень почетное место. Наша прабабка, любимая Мамо Блантон, родилась в Кеке, а у младшей сестры Мамо Блантон — тетушки Бонни, ныне девяностолетней старушки — даже оставалась там бревенчатая хижина. Если от этой хижины проехать немного в гору, то окажешься на большой поляне — последнем пристанище Папо, Мамо Блантон и других наших родственников, многие из которых родились еще в XIX веке. Вот туда-то мы и отправились: по узким горным дорогам повезли Мамо к родственникам, покинувшим этот мир прежде нее.

Я проделывал этот путь не меньше дюжины раз, и за каждым поворотом открывался пейзаж, вызывавший ностальгические воспоминания. Прежде мы никогда не сидели в машине молча, всегда обменивались воспоминаниями об усопших: «А помните тот случай, когда?..» Однако после похорон Мамо мы говорили не о бабушке с дедушкой, не о дядюшке Реде и Тиберри или том дне, когда дядя Дэвид упал со склона, прокатился ярдов сто, но не получил ни царапинки… Вместо этого мы с Линдси выслушивали нотации: что мы зря сидим с кислыми рожами, что мы слишком любили бабушку и только Бев имеет право лить о ней слезы, потому что, цитирую: «Это мне она мать, а вам — никто!»

Я прежде никогда не злился на мать всерьез. Долгими годами находил для нее оправдания. Помогал решить проблему с наркотиками, читал дурацкие книжки о зависимости, ходил с ней на собрания… Терпел, не жалуясь, череду папаш, которые научили меня только одному: не доверять людям и ни с кем не сближаться. Я согласился сесть к ней в машину в тот день, когда она угрожала меня убить, а потом врал судье, чтобы ее не отправили за решетку. Я переехал с ней сперва к Мэтту, затем к Кену, потому что хотел, чтобы она выздоровела, и надеялся, что, если подыграю, у нее будет лишний шанс. Линдси слишком часто называла меня «мягкосердечным»: говорила, что я ищу в матери одни достоинства, оправдываю ее и верю каждому слову.

Поэтому я открыл было рот, намереваясь выплеснуть на мать всю свою обиду, но сестра меня опередила. «Нет. Она была и нам матерью тоже», — вот и все, что сказала Линдси, после чего в машине воцарилась мертвая тишина.

После похорон я поехал обратно на базу в Северную Каролину. На узкой горной дороге в Вирджинии под колеса попался мокрый участок асфальта, как раз на повороте, и

автомобиль занесло. Я ехал довольно быстро, и машина, виляя и не думая тормозить, полетела к обрыву. В голове мелькнула лишь одна мысль — видимо, я встречусь с Мамо чуточку раньше, чем рассчитывал, — но тут автомобиль, к счастью, выровнялся. Я никогда не верил во всякую чертовщину, и вообще, наверное, тот случай можно объяснить простыми законами физики — и все же я считаю, что это Мамо не позволила тогда машине рухнуть в пропасть. Я кое-как припарковался на обочине и впервые за две недели наконец дал волю слезам.

Последние годы в армии пролетели незаметно, хотя были два случая, которые позволяют говорить о том, как служба изменила мое представление о жизни. Первый случай — отправка в Ирак. Мне посчастливилось избежать участия в настоящих боевых действиях, и в то же время Ирак сильно меня изменил. Меня назначили ответственным за связи с общественностью и не раз переводили из одного подразделения в другое. Иногда я сопровождал гражданских журналистов, но чаще сам делал фотографии и писал коротенькие заметки про пехотинцев и их службу. В самые первые дни меня включили в состав группы по гражданским вопросам, которая работала с местным населением. Такие миссии считались более опасными, потому что малая группа пехотинцев обычно отправлялась на иракскую территорию, чтобы встретиться с местными жителями. Обычно офицеры беседовали с чиновниками, ответственными за сферу образования, а рядовые обеспечивали безопасность, а заодно общались с местной ребятней: болтали, играли в футбол, раздавали конфеты или канцелярию. Однажды ко мне подошел мальчик и робко протянул руку. Я дал ему крохотный ластик, а он невероятно обрадовался, прижал ластик к груди, как драгоценное сокровище, и со всех ног припустил к родным. Никогда в жизни не видел на лице у ребенка такого счастья…

Я не верю в прозрения. Не верю в моменты откровений, потому что перемены не происходят в один миг. Слишком часто я встречал людей, искренне желающих измениться, однако меняющих свое решение, как только они сознают, какой это нелегкий процесс. Но если озарения и бывают, то это случилось со мной в ту минуту, когда я увидел иракского мальчика. Всю жизнь я злился на окружающих. Злился на мать с отцом; злился, что приходится ездить в школу на автобусе, а не на машине с друзьями, как остальные школьники; злился, что у меня нет одежды из «Аберкромби»; что мой дедушка умер; что мы живем в тесном доме. Вся эта злость, разумеется, не исчезла в один миг, но когда я огляделся вокруг и увидел истерзанную войной страну, школу без водопровода и ребенка, радующегося

грошовому ластику, я вдруг понял, как мне повезло. Я родился в самой великой стране на свете, жил в доме, оснащенном по последнему слову техники, меня воспитывали двое любящих хиллбилли, а прочие родственники, несмотря на все свои причуды, безоговорочно меня любили. В тот момент я решил, что буду человеком, который улыбается, когда ему дарят ластик. И хотя нельзя сказать, что моя задумка полностью удалась, с того дня в Ираке я старался находить радость в любой мелочи.

Другой переломный момент — сама служба в корпусе морской пехоты. С самого первого дня, когда тощий инструктор выбил у меня из рук тарелку с пирогом, и до последней секунды, когда я получил документы и поехал домой, армия учила меня быть взрослым.

Специфика службы учитывала, что многие новобранцы ничего не смыслят в некоторых аспектах жизни. Тебя учат не только быть сильным и выносливым, но и соблюдать личную гигиену или управлять финансами. Я посещал обязательные занятия по инвестициям и контролю сбережений. Когда выпустился из тренировочного лагеря с пятнадцатью сотнями долларов на счету в каком-то захудалом региональном банке, старший офицер моего подразделения отвел меня в Федеральный кредитный союз военно-морского флота — очень уважаемую финансовую организацию — и заставил перевести средства туда. Когда я заболел фарингитом, то решил лечиться своими силами, однако командир заметил мое состояние и велел немедленно идти к врачу.

Военная служба совершенно не похожа на гражданскую работу. В обычном мире боссу все равно, чем ты занимаешься после смены. На базе же мой командир следил не только за тем, чтобы я исправно выполнял обязанности, но и чтобы я содержал комнату в чистоте, вовремя стригся и гладил форму. Когда я решил купить машину, со мной отправили старшину, чтобы выбрать приличный автомобиль вроде «тойоты» или «хонды», а не какой-нибудь «БМВ», как мне хотелось. В салоне я почти согласился оплатить покупку напрямую через автодилера, оформив кредит со ставкой в двадцать один процент, но старшина фактически сорвал сделку, заставив меня позвонить в Кредитный союз военно-морского флота и запросить кредит там (со ставкой в два раза ниже). Я понятия не имел, что так вообще можно. Сравнивать банки? Зачем? Я думал, все они одинаковые! Подавать на кредит сразу несколько заявок? Слава богу, если кредит вообще дадут, надо соглашаться на любые условия, пока менеджер не передумал! В общем, армия требовала от меня принимать стратегически верные решения и учила, как это

делать.

Что куда более важно, служба в армии заставила меня переоценить свои способности. В тренировочном лагере одна мысль о том, чтобы залезть по канату на высоту тридцать футов, вызывала у меня панику. К концу первого года я мог вскарабкаться по веревке, держась одной рукой. В школе я не мог одолеть и мили — на последнем зачете пробежал три мили за девятнадцать минут. На военной базе я впервые отдал приказ людям вдвое старше меня, а они его исполнили; там я узнал, что хороший лидер в первую очередь должен заслужить уважение подчиненных, а не просто сыпать распоряжениями налево и направо; там я научился это самое уважение завоевывать, а еще увидел, что мужчины и женщины разного вероисповедания и цвета кожи могут дружно работать бок о бок в одной команде. В корпусе морской пехоты я не раз падал лицом в грязь, терпя одну неудачу за другой, и всякий раз получал шанс исправить свои ошибки.

В управлении по связям с общественностью, как правило, работают старшие офицеры. Пресса — это святой Грааль морской пехоты, здесь самые большие аудитории и самые высокие ставки. Однако наш офицер по связям со СМИ по каким-то причинам впал у руководства базы в немилость. И хоть он был капитаном — на восемь рангов выше меня! — из-за войны в Ираке и Афганистане заменить его оказалось некем. Поэтому командир объявил мне, что следующие девять месяцев (то есть до конца службы) за связи с общественностью на крупнейшей военной базе восточного побережья отвечать буду я.

К тому времени я уже привык, что меня переводят с поста на пост. Однако это назначение по своей сути было совсем другим. Как шутил мой приятель, у меня лицо для радио, и я не был готов выступать перед телевизионной камерой. Фактически меня бросили на растерзание волкам. Сперва, конечно, я допускал немало промахов: позволил журналистам сфотографировать парочку секретных самолетов или не в свой черед открывал рот на встречах со старшими офицерами, за что не раз получал нагоняй. Однако мой командир, Шон Хейни, объяснял, что нужно делать и как исправить ошибки. Мы обсуждали, как выстраивать отношения со СМИ, как не отклоняться от темы и как все успевать. У меня понемногу стало получаться, и когда на базе устроили авиашоу, на которое пригласили сотни тысяч людей, я так грамотно организовал освещение мероприятия, что заслужил благодарственную медаль.

И это тоже было ценным уроком: мне многое по плечу. Я способен работать по двенадцать часов в сутки, если требуется.

Могу говорить четко и уверенно, даже когда в лицо нацелен объектив камеры. Могу стоять в одном помещении с майорами, полковниками и генералами и держать себя в руках. А еще выполнять обязанности капитана, почти не допуская оплошностей.

Как ни уверяла меня бабушка, что все, мол, получится, «только не будь как те дебилы, которые все свои неудачи валят на окружающих», до поступления на службу я мало в себя верил. Меня окружали люди не самых выдающихся способностей, и в Мидлтауне никогда не рождались будущие выпускники Лиги плюща — потому что такова якобы наша генетика. Эти мысли очень разрушительны, но я не замечал их пагубного влияния, пока не покинул эту среду. Армия заставила меня мыслить иначе — потому что там не терпят оправданий. «Делай все на пределе сил» — таков был наш девиз на занятиях по физподготовке. Когда я впервые пробежал три мили с весьма посредственным результатом в двадцать пять минут (радуясь уже тому, что дополз до финишной черты), инструктор встретил меня словами: «Ты что, на прогулке, бездельник? Хватит спать, шевели задницей!» И приказал мне бегать кругами: от него до ближайшего дерева, туда и обратно, раз за разом. Он сжалился, лишь когда я стал падать в обморок от изнеможения. Я стоял на подгибающихся ногах, с трудом переводя дух, а он орал: «Вот как надо себя чувствовать в конце пробежки, ясно?!» Так живут морские пехотинцы.

Я вовсе не утверждаю, что человеку не нужны способности. Разумеется, без них никуда. Но когда вдруг осознаешь, что ты себя недооценивал, что ошибочно принимал лень за отсутствие таланта, у тебя вырастают крылья. Поэтому когда люди спрашивают меня, что я хотел бы изменить в среде белого рабочего класса, я говорю одно: «Ощущение, что твой выбор ничего не решает». Корпус морской пехоты вырезал у меня чувство беспомощности, как хирург отсекает опухоль.

Спустя несколько дней после двадцать третьего дня рождения я сел за руль подержанной «хонды-сивик» — своего самого дорогого приобретения — и в последний раз поехал из Черри-Поинт, Северная Каролина, в Мидлтаун, штат Огайо. За четыре года в армии я увидел, в какой ужасающей нищете живут гаитяне. Стал свидетелем крушения самолета в жилом районе. Похоронил Мамо, а спустя несколько месяцев отправился на войну. Сдружился с бывшим наркоторговцем, который на поверку оказался самым крутым парнем на свете.

В армию я пошел, потому что не был готов к взрослой жизни. Не знал, как управляться с деньгами, и не имел ни малейшего представления, как заполнять заявку на грант для колледжа.

Теперь же я понимал, не только чего хочу от жизни, но и как этого добиться. Через три недели меня ждал Университет штата Огайо.

Глава одиннадцатая

В университет я приехал в начале сентября 2007 года. Помню тот день до мельчайших деталей: как мы пообедали в «Чипотле»[51] (Линдси была там впервые), а потом прогулялись вокруг южного кампуса, которому вскоре предстояло стать моим домом. Погода стояла замечательная. Консультант рассказал мне о расписании на первое время — я должен был заниматься всего четыре дня в неделю, причем занятия начинались не раньше девяти тридцати. После армии с ее подъемами в полшестого утра я не верил своей удаче!

Главный корпус Университета штата Огайо располагается в городе Колумбус, всего в ста милях от Мидлтауна, а значит, я мог навещать родных хоть каждые выходные. Впервые за последние несколько лет мне представилась возможность бывать дома, когда захочу. И если Хейвлок (ближайший к моей военной базе город в Северной Каролине) мало чем отличался от Мидлтауна, то Колумбус по сравнению с ними выглядел земным раем. Это был (и остается таковым сегодня) самый быстро развивающийся город страны — во многом благодаря крупному университету. Выпускники открывали здесь свои предприятия, исторические здания становились ресторанами и барами; даже в самых трущобных районах процветала жизнь. Мой хороший приятель работал на местной радиостанции директором по маркетингу, поэтому я всегда был в курсе последних новостей и первым узнавал о самых громких событиях города — от программы ближайшего фестиваля до списка именитых гостей на ежегодном шоу фейерверков.

Я завел много новых друзей, причем почти все они были с юго-запада Огайо. Из шестерых соседей по общежитию пятеро окончили мидлтаунскую школу, а шестой — школу Эджвуд в соседнем Трентоне. Все они были младше меня (из-за службы в армии я потерял несколько лет), но многих я знал еще по Мидлтауну. Сам того не сознавая, я стал свидетелем феномена, который социологи называют «утечкой мозгов» — когда люди, способные покинуть нищий город, уезжают и находят себе новый дом, где открываются большие перспективы для учебы или карьеры. Спустя несколько лет на собственной свадьбе я вдруг понял, что все шестеро приятелей жениха, как и я сам, выросли в крохотном городке Огайо, потом поступили в университет, нашли работу за пределами родного города и о возвращении к семейному очагу даже не помышляли.

Служба в армии прекрасно подготовила меня к новой жизни.

Я ходил на занятия, делал домашние задания, вечерами сидел в библиотеке, успевал выпить с друзьями — и как ни в чем не бывало вскакивал на рассвете, отправляясь на утреннюю пробежку. График был довольно напряженным, но все, чего я так боялся в восемнадцать, теперь выглядело простым и легким. Несколько лет назад я спорил с Мамо, чье имя надо писать в графе «родитель/опекун» — бабки или матери; боялся, что если мы не укажем в документах информацию о доходах Боба Хамела (моего официального приемного отца), то меня обвинят в мошенничестве; чудом не вылетел из школы за кошмарные оценки по английскому языку. Теперь же я уверенно оплачивал счета и получал по всем дисциплинам только высшие баллы.

Как никогда прежде, я чувствовал, что сам стою у руля своей жизни.

Я знал, что в Университете штата Огайо действует негласное правило: «или учись, парень, или гуляй». Из армии я вышел не только с чувством, что мне все по плечу, но и с умением планировать свою жизнь. Чтобы поступить в хорошую юридическую школу, мне требовались высокие оценки и козырь в виде успешно сданного вступительного теста для юридических вузов[52]. Конечно, свое будущее я во многом видел еще туманно. Не мог, например, обосновать, зачем мне вообще юридическое образование, кроме как сослаться на тот факт, что в Мидлтауне «богатыми» обычно считаются семьи врачей или юристов, а регулярно видеть кровь мне не хотелось. Я не знал, какие еще есть варианты достойного будущего, но все-таки поставил перед собой конкретную цель.

Я терпеть не мог кредиты и накладываемые ими обязательства. Хотя по Биллю о солдатских правах я получил стипендию, покрывавшую большую часть стоимости обучения, а жители штата Огайо и вовсе получали от университета дополнительную скидку, все равно мне предстояло заплатить за учебу около двадцати тысяч долларов. Поэтому я устроился на работу в местный Сенат, к сенатору от Цинциннати по имени Боб Шулер. Он был на удивление хорошим человеком, мне нравилась его политика, поэтому когда избиратели звонили с жалобами, я искренне пытался донести до них его позицию. Я видел, как приходят и уходят лоббисты, слышал, как сенатор обсуждает со своими помощниками тот или иной законопроект: выгоден ли он прежде всего избирателям или штату, или и тем и другим сразу? Видя политический процесс изнутри, а не на экране телевизора, я, как никогда прежде, начал разбираться в специфике законотворческой кухни. Мамо считала, что все политики — воры, но я убедился, что это не так, по крайней мере в Сенате

Огайо.

Спустя несколько месяцев, когда я понял, что долги растут, а мои источники дохода их не покрывают (например, выяснилось, что сдавать плазму крови можно не чаще раза в две недели), я решил подыскать еще одну работу. Нашел вакансию общественной организации, где обещали частичную занятость и зарплату десять долларов в час. Но когда я заявился на собеседование в уродливой светло-зеленой рубашке и военных ботинках (единственной моей приличной обуви, не считая кроссовок), то по взгляду человека напротив понял, что мне ничего не светит. Я даже не стал открывать письмо, которое по электронной почте пришло от них спустя неделю. Потом я увидел похожую вакансию от другой организации — там работали с детьми, подвергшимися насилию. Они тоже платили десять долларов в час, поэтому я пошел в «Таргет»[53], купил рубашку поприличнее, нормальные туфли — и вскоре получил приглашение работать консультантом. Мне были близки их идеалы, и люди там работали замечательные. Я рьяно взялся за дело.

При двух работах и полноценной учебе жизнь стала еще более напряженной, но я не жаловался. Даже не сознавал, что такая занятость — это уже слишком, пока один профессор не предложил мне встретиться после занятий, чтобы обсудить домашнее задание. Я сбросил ему мое расписание, а он пришел в ужас и строго-настрого велел бросить всю эту чепуху и сосредоточиться на учебе! Я улыбнулся, пожал ему руку, от души поблагодарил, но к совету не прислушался. Мне нравилось допоздна сидеть над рефератами и вставать чуть свет, после трех-четырех часов сна, гордясь при этом собственной выносливостью. После стольких лет страха перед будущим, когда я боялся, что в конечном счете стану таким же, как все соседи — то есть опустившимся наркоманом, алкоголиком или сидельцем с выводком нелюбимых детей, — я чувствовал невероятный прилив сил. Я знал статистику. Еще в детстве читал брошюры в кабинете социального работника. Своими глазами видел, какое жалкое существование влачит ассистент из стоматологической клиники. Может, мне и не стоило так выкладываться, но пока все получалось.

Разумеется, я зашел слишком далеко. Не высыпался, залпом пил энергетики и питался одним фастфудом. Подхватил жуткую простуду, а через неделю доктор объявил, что у меня мононуклеоз. Я пропустил его слова мимо ушей и продолжил глотать, будто волшебный эликсир, «Дейквил-найквил»[54]. Еще через неделю моча побурела до мерзко-коричневого цвета, а

температура подскочила до 39,5 °С. Я понял, что пора бы отдохнуть, выпил пару таблеток тайленола[55] и завалился спать.

Прослышав о моем состоянии, в Колумбус примчалась мать и потащила меня в больницу. Мать давно уже не работала в медицине, но при всех своих грехах считала своим долгом следить за нашим здоровьем. Она умела задавать врачам правильные вопросы и не позволяла им увильнуть от ответов, поэтому добилась того, чтобы мне оказали необходимую помощь. Я провел в больнице два дня. В меня влили пять большущих пакетов солевого раствора, чтобы компенсировать потерю жидкости, и вдобавок к мононуклеозу обнаружили стафилококковую инфекцию, что объясняло тяжесть симптомов. Врачи отпустили меня на поруки матери, и та до полного выздоровления увезла меня домой.

На больничном я провел несколько недель, к счастью, выпавших на время между осенним и весенним семестрами. В Мидлтауне я оказался на попечении тетушки Ви и матери; они заботились обо мне на равных. Так я впервые очутился дома, где больше не было Мамо…

Мне не хотелось ранить материнские чувства, но, похоже, между нами пролегли слишком глубокие трещины, которые не могло сгладить время. Какой бы она ни была милой и заботливой — а за время моей болезни она вела себя так, что лучшей матери нельзя и сыскать, — рядом с ней я чувствовал себя неловко. В ее доме приходилось общаться с пятым мужем — человеком добрым, однако совершенно мне чужим. Приходилось смотреть на мебель и вспоминать, как во время скандалов с Бобом я прятался за диваном. Приходилось ломать голову, откуда такое противоречие: как женщина, самоотверженно сидящая у постели больного сына, уже через месяц примется лгать родным, чтобы раздобыть денег на наркотики?

Я знал, что мать обижают мои дружеские отношения с тетушкой Ви. «Я тебя родила, я твоя мать», — повторяла она снова и снова. Даже сегодня я спрашиваю себя, могла бы мать избавиться от своей зависимости, если бы я, повзрослев, стал с ней настойчивее и жестче? Наркоманы чаще всего поддаются соблазну в моменты эмоционального напряжения — и наверное, я сумел бы удержать ее от нескольких приступов отчаяния… Но я устал. Не знаю, что изменилось; возможно, сработал инстинкт самосохранения. Так или иначе, я больше не мог притворяться, будто нахожусь дома.

Вскоре я собрался с силами и вернулся в Колумбус, к учебе. Я значительно потерял в весе — за четыре недели сбросил двадцать фунтов, — однако в остальном чувствовал себя неплохо. Увидев

счета из больницы, нашел третью работу (репетитором в «Принстон ревью»[56]), где платили бешеные деньги — целых восемнадцать долларов в час! Однако три работы было уже слишком, поэтому пришлось отказаться от самого любимого места — в Сенате, потому что там платили меньше всего. Мне были нужны деньги и та свобода, которую они дают. Поэтому я пообещал себе, что удовольствие от работы буду получать потом.

Незадолго до моего ухода в Сенате Огайо обсуждались меры, которые весьма ограничили бы выдачу краткосрочных займов. Мой сенатор в числе немногих голосовал против законопроекта, и мне хотелось думать, что мы с ним придерживались одного мнения. Сенаторы и политики, обсуждавшие законопроект, смутно представляли себе роль, которую краткосрочные займы играют в жизни людей вроде меня — берущих ссуды до ближайшей зарплаты. Для политиков кредиторы были хищными акулами, взимавшими непомерные проценты по займам и бешеную комиссию за обналичивание чеков. Чем скорее от них избавятся, тем лучше!

Для меня же краткосрочные кредиты предлагали решение многих финансовых проблем. Кредитная история у меня была отвратительной из-за многочисленных финансовых ошибок, которые я допускал в юности и по своей вине, и по чужой. То есть оформить кредитку я не мог. Следовательно, если я хотел пригласить девушку на ужин или купить учебники, а на счетах было пусто, то выбор оставался один. (Можно было, конечно, попросить денег у тетушки с дядей, но мне все-таки хотелось стать самостоятельным.) Однажды я получил счет за аренду. Малейшая просрочка оплаты повлекла бы штраф в целых пятьдесят долларов. Меня выручил краткосрочный заем: за три дня до получки набежало всего несколько долларов переплаты, значительно меньше суммы штрафа. Так вот, законодателям, обсуждавшим суть кредитования до зарплаты, такие ситуации в голову не приходили.

Второй год в колледже начался так же, как и первый — с солнечного дня, полного радостных впечатлений. У меня почти не оставалось свободного времени, но я не жаловался. Смущало только одно — что в свои двадцать четыре я, пожалуй, немного староват для студента-второкурсника. Между мною и другими студентами колледжа пролегла четкая грань не только из-за разницы в годах. На одном из семинаров по внешней политике выступал девятнадцатилетний юнец с бороденкой; в какой-то момент он стал говорить про войну в Ираке. Заявил, что парни, которые там воюют, значительно уступают интеллектом тем, кто предпочел учебу (вроде него самого). Мол, это объясняло, почему

наши солдаты жестоко измываются над гражданским населением. Ужасный вывод! Мои приятели по армии придерживались самых разных взглядов — и на политику в целом, и на войну в Ираке в частности. Многие были убежденными либералами, терпеть не могли нашего нынешнего лидера — Джорджа Буша-младшего — и чувствовали, что мы слишком многим жертвуем ради сомнительной выгоды. Но никто и никогда не позволял себе такой чуши!

Пока тот бородач выступал, я вспоминал, как в армии нас учили уважать иракскую культуру: не закидывать ногу на ногу, показывая собеседнику подошвы ботинок; не обращаться к женщине в мусульманском платке, не спросив сперва разрешения у ее родственника-мужчины… Я вспоминал о том, как мы обеспечивали безопасность на иракских избирательных участках, и о том, как старательно объясняли работникам важность их миссии, не навязывая при этом своих политических взглядов. О том, как один иракец, ни слова не знавший по-английски, безупречно исполнил песню рэпера Фифти сентс, а мы с приятелями ему аплодировали. Я вспомнил о друзьях, получивших ожоги третьей степени — им «повезло» пережить взрыв фугасной бомбы в Эль-Каиме. А бородатый засранец заявляет перед всей аудиторией, что мы убиваем там людей ради забавы!

Мне не терпелось поскорее окончить колледж. Поэтому я встретился с куратором и составил график индивидуального обучения — теперь предстояло ходить на занятия летом, а в течение семестров нагрузка возрастала вдвое. Даже по моим меркам, год обещал стать очень напряженным. Особенно туго пришлось в феврале, когда я сел и подсчитал, сколько ночей спал не более четырех часов. Получилось тридцать девять… И все же я не сдался, и в августе 2009 года, спустя год и одиннадцать месяцев после поступления в колледж, получил диплом с отличием. Родные не позволили мне пропустить церемонию вручения. Три часа я просидел на жестком стуле, затем поднялся на трибуну за дипломом. Гордон Джи, тогдашний президент университета, отвлекся, фотографируясь с предыдущей студенткой, и я молча протянул руку его помощнице. Та отдала мне документы, я тихонько за его спиной спустился с трибуны и стал, наверное, единственным студентом, который в тот день не пожал ему руку.

Я знал, что на следующий год пойду в юридическую школу (в этом году из-за позднего выпуска уже не успевал подать документы). Поэтому, чтобы не тратить зря деньги, поехал домой. Бабушкино место главы семьи теперь занимала тетушка Ви: она

гасила раздоры, устраивала семейные сборища и не давала нам разбежаться кто куда. После смерти Мамо она предложила мне крышу над головой, но прожить у нее целых десять месяцев — это было бы слишком; мне не хотелось нарушать уклад ее семьи. Тем не менее тетушка Ви настояла: «Джей Ди, это и твой дом тоже».

Последние месяцы в Мидлтауне стали для меня самыми счастливыми в жизни. Я наконец окончил колледж и собирался исполнить другую свою мечту — поступить на юридический. Подрабатывал, чтобы скопить денег, сблизился с двоюродными сестрами. Каждый вечер возвращался со смены потный, усталый, садился за стол и слушал, как девочки рассказывают об учебе в школе, о приятелях и забавах. Иногда помогал им с домашним заданием. По пятницам во время Великого поста жарил рыбу в местной католической церкви. Чувство, которое появилось в колледже — что все испытания остались позади, — день ото дня становилось сильнее.

Мой безграничный оптимизм резко граничил с упаднических настроениями соседей. Годы спада реальной экономики сильно подкосили жителей Мидлтауна из числа «синих воротничков». Великая рецессия[57] и последовавший за ней небольшой подъем усилили разруху. Воцарившийся в городе скепсис был по своей сути очень глубок: не просто краткое уныние из-за экономического кризиса, а нечто более серьезное.

У хиллбилли нет героев. Политики на эту роль не годятся. Барака Обаму, конечно, весьма уважали (и уважают по сей день), но на его восхождение мидлтаунцы глядели с подозрением. У Джорджа Буша в 2008 году сторонников уже не осталось. Билла Клинтона любили многие, однако при этом видели в нем символ морального разложения Америки, а Рональд Рейган давным-давно умер… Военные? В современной армии не было фигуры, равной Джорджу С. Паттону[58]; и вряд ли мои соседи могли назвать по имени хоть одного достойного офицера. Космическая программа — наша главная гордость на протяжении многих лет — давно сыграла в ящик, а вместе с нею и все более-менее известные астронавты. С американским обществом нас ничего не роднило. Мы словно безо всякой надежды на победу воевали разом на два фронта: с самими собой и с экономикой, которая не могла исполнить самого главного обещания «американской мечты» — стабильной заработной платы.

Для того чтобы уяснить разницу культур, вы должны понять, что самобытность моей семьи, моих соседей, всего нашего города во многом связана с чувством гордости за страну. Я мало что могу рассказать про округ Бритит, про его власти, здравоохранение или известных жителей… Знаю одно: Бритит

называется «кровавым», потому что во время Первой мировой войны наш округ полностью выполнил квоту по добровольцам, отправившимся на фронт — единственный из всех Соединенных Штатов! Этот столетний факт из истории — наше главное достояние. Однажды я брал интервью у Мамо для школьного проекта о Второй мировой войне. Прожив семьдесят лет, испытав немало трудностей, видя смерть и нищету, Мамо испытывала невероятную гордость за то, что она и ее семья во время войны тоже внесли свой вклад во всеобщую победу. Мы несколько часов подряд говорили про военные пайки, про Клепальщицу Рози[59] про письма отца с фронта и про тот день, «когда мы сбросили бомбу». У Мамо всегда было два бога: Иисус Христос и Соединенные Штаты Америки. У меня тоже — как и у всех, кого я знал.

Я из тех патриотов, над которыми смеются в «коридоре Асела»[60]. Всегда встаю под звуки попсового гимна Ли Гринвуда «Горжусь тем, что я американец». Когда мне было шестнадцать, я дал клятву, что всякий раз, увидев ветерана, буду жать ему руку, даже если ради этого придется бросить все свои дела. До сих пор не могу смотреть фильм «Спасение рядового Райана» в компании посторонних людей, потому что во время финальной сцены не способен сдержать слез.

Мамо и Папо внушили мне, что мы живем в величайшей стране на свете. Этот факт в моем детстве значил очень многое. Как бы тяжело ни приходилось, когда меня сводили с ума вечные скандалы и драмы, я знал: впереди ждут лучшие времена, ведь я живу в сильном государстве, которое обязательно даст мне шанс там, где у других его быть не может. И когда сегодня я думаю о своей жизни, о том, что она стала поистине невероятной: у меня чудесная, потрясающая спутница жизни, достойная заработная плата, прекрасные друзья и новые впечатления, — я безмерно благодарен за все это Соединенным Штатам Америки. Банально? Увы, такие уж у меня чувства…

И если бабушка свято верила в США, то многие наши соседи эту веру утрачивали. Узы, которые связывали их и вдохновляли, казалось, понемногу истончаются. Симптомы были видны повсюду. Подавляющее большинство белых избирателей консервативного толка верили, что Барак Обама — мусульманин. По результатам одного опроса, 32 % консерваторов заявили, что считают Обаму уроженцем другого государства, еще 19 % — что сомневаются в его происхождении; то есть более половины белых избирателей принимали Обаму за иностранца! От знакомых и дальних родственников я не раз слышал, что Обама связан с исламскими экстремистами, либо он предатель, либо вообще не

американец по рождению.

Многие мои нынешние друзья видят причину такого отношения в банальном расизме. Но беда в том, что президент для многих мидлтаунцев был чужим отнюдь не из-за цвета кожи. Напоминаю: никто из моих бывших одноклассников не мог даже мечтать об университете из Лиги плюща. Барак Обама окончил сразу два, причем с блестящим результатом. Он был умен, богат и выражался как профессор конституционного права. Иными словами, он абсолютно не походил на людей, которые окружали меня в детстве: у него была чистая речь без малейшего намека на региональный говор; всю свою жизнь он провел в Чикаго — крупнейшем мегаполисе страны — и вообще вел себя так, будто современная американская система создана исключительно для его власти: мол, он один достоин управлять страной. Конечно, и у него случались в жизни трудности, но задолго до того, как он вышел на политическую арену.

Президент Обама появился на сцене ровно в тот момент, когда многие люди из моего окружения начали думать, что американская меритократия не для них. Мы знали, что у нас немало проблем. Видели это каждый день: когда читали некрологи детей-подростков, где умалчивалась причина смерти (хотя между строк ясно читалось — «передозировка наркотиков»), когда гнали из дому зятей-тунеядцев, на которых наши дочери тратили зря молодость… Барак Обама больно поразил нас в самое сердце. Он прекрасный отец, а мы — нет. Он носит на работу дорогие костюмы, а мы грязную спецовку (и то если повезет найти приличную вакансию). Его жена запрещает нам кормить детей вредными продуктами — и мы ее ненавидим, но не потому что она несет чушь, а потому что она совершенно права, и мы это знаем.

Многие пытались списать скептические настроения в среде рабочего класса на работу дезинформаторов: мол, существует целая индустрия заговорщиков и психов, которые днями напролет строчат в Интернете всякий бред про Обаму. Однако любое крупное информационное агентство, включая даже продажное «Фокс ньюс», не раз писало про Обаму правду. Все мои знакомые видели статьи про нашего президента, где говорилось о его происхождении и духовных пристрастиях — но не верили ни одному слову. Лишь 6 % избирателей считают медиа «заслуживающими доверия»[21]. Независимая пресса, оплот американской демократии, для большинства — пустышка.

Из-за недоверия к прессе все охотно читают байки в Интернете: что, мол, Барак Обама — иностранец, который жаждет развалить страну. Многие белые рабочие готовы поверить в

любую чушь, если ее опровергают в официальных СМИ. Вот ссылки на фейковые новости, которые в разные годы присылали мне друзья или знакомые.

— На радиоведущего правого толка Алекса Джонса[61] к десятилетней годовщине 9/11 — про документалку о «нерешенном вопросе», где высказывалось предположение, что расправу над американской нацией учинили сами власти.

— На историю о том, что реформа здравоохранения подразумевает имплантацию микрочипов каждому пациенту. Эта байка вдобавок насытилась новыми красками из-за религиозных предубеждений: многие верят, что предсказанный в Библии «знак зверя», знаменующий конец света[62] будет электронным устройством. Друзья в социальных сетях не раз предостерегали меня от этой опасности.

— На редакционную статью с популярного сайта «Волд-Нет-Дэйли», где говорилось, что убийство в Ньютауне[63] было организовано федеральным правительством, чтобы обратить внимание общественности на меры контроля над оружием.

— На многочисленные интернет-источники, где звучало предположение, что Обама в скором будущем введет военное положение, чтобы обеспечить свое избрание на третий срок.

Список можно продолжать до бесконечности. Трудно представить, сколько людей верят в ту или иную байку. Однако если треть нашего сообщества ставит под сомнение происхождение президента — несмотря на предъявленные им железные доказательства, — готов поспорить, что и другие теории имеют немало сторонников; больше, чем хотелось бы. Это отнюдь не либертарианское сомнение в правительственной политике, которое лишь идет на пользу государству; это глубочайшее недоверие к самим социальным институтам. И с каждым годом оно становится только глубже.

Мы не доверяем вечерним новостям. Не доверяем нашим политикам. Наши университеты, врата в лучшую жизнь — для нас закрыты. Мы не в состоянии найти работу. Невозможно верить в подобный бред и при этом активно участвовать в жизни общества. Социальные психологи давно доказали, что мнение группы — самый мощный мотиватор производительности. Если сообщество понимает, что в его интересах усердно трудиться и добиваться определенной цели, то отдельные члены сообщества показывают более высокую результативность. И это логично: если вы знаете, что ваш труд окупится, значит, и работать будете старательнее; если же думаете, что ничего не выйдет, какой смысл прикладывать усилия?

Когда люди терпят неудачу, они склонны перекладывать

ответственность на других. Однажды в баре Мидлтауна я встретил одного приятеля, тот сказал, что недавно ушел с работы, потому что надоело вставать чуть свет. Позднее я увидел, как в Фейсбуке он жалуется на «экономику Обамы», которая сломала ему жизнь. Уверен, что экономический курс Обамы подкосил немало судеб, но этот человек явно не из их числа. Его жизненная ситуация напрямую связана с тем выбором, который он сделал сам. Но чтобы сделать иной выбор, нужно жить в окружении, которое заставляет объективно оценивать свои поступки. Иными словами, в среде белого рабочего класса есть культурное движение, которое склонно во всех проблемах винить общество или правительство; и оно день ото дня набирает сторонников.

Получается, что риторика современных консерваторов (а я выступаю от их имени) не отвечает ожиданиям основной массы избирателей. Вместо того чтобы поощрять сотрудничество, консерваторы только разжигают рознь, которая подрывает амбиции многих моих сверстников. Одни мои друзья добились успеха, а другие поддались пагубным соблазнам Мидлтауна — наркотикам и выпивке, обзавелись в юном возрасте детьми или вовсе угодили в тюрьму. Везунчиков от неудачников отличает только одно — правильное решение. И тем не менее все чаще и чаще звучат странные лозунги: «Не вы виноваты в своем провале, это все правительство».

Мой отец, к примеру, никогда не чурался тяжелой работы, и все же он не верил в самый очевидный способ подняться по социальной лестнице. Когда он услышал, что я хочу поступать в Йель, то спросил, кем я намерен там притвориться: «чернокожим или либералом»? Вот сколь низки культурные ожидания белых рабочих в Америке. Не надо удивляться тому, что по мере распространения этих взглядов растет и количество людей, не желающих идти к успеху.

Проект исследовательского центра Пью[64] по изучению экономической мобильности позволил проанализировать, как американцы оценивают свои шансы на успех — и результаты получились ошеломительными! Во всей Америке нет более пессимистично настроенного сообщества, чем белые рабочие. Больше половины темнокожих, латиноамериканцев и белых с высшим образованием уверены, что их дети будут жить лучше них. Среди рабочего класса такие ожидания разделяют лишь 44 %. Что еще более удивительно, 42 % опрошенных (самый высокий показатель в результатах опроса) утверждают, будто с экономической точки зрения живут хуже своих родителей.

Впрочем, в 2010 году я об этом не думал. Я был рад тому, что имею, и верил в будущее. Впервые я чувствовал себя чужим в

Мидлтауне. И в пришельца меня превращал именно мой оптимизм.

Глава двенадцатая

Готовясь к поступлению в юридический вуз, сперва я даже не глядел в сторону Йеля, Гарварда и Стэнфорда — трех легендарных столпов нашего образования. Я не верил, что у меня есть хоть малейший шанс туда попасть. И, что куда более важно, не думал, будто выбор университета имеет принципиальное значение: ведь все юристы неплохо зарабатывают. Надо лишь поступить на юридический, и тогда все сложится: меня ждет уважаемая профессия, достойная зарплата и «американская мечта». Однако затем мой приятель Даррел случайно встретил в модном ресторане бывшую однокурсницу. Она работала там официанткой, потому что не смогла устроиться по специальности. И я решил попытать счастья в Йеле или Гарварде.

Стэнфорд — одно из лучших учебных заведений страны — я рассматривать не стал. Дело том, что их заявка включала в себя не только стандартный набор документов (копию табеля с оценками, результаты экзамена и эссе); в Стэнфорде требовалось еще и личное согласие декана из колледжа: документ, написанный по определенному шаблону и заверенный подписью, подтверждающей, что ты не полный идиот.

Беда в том, что я не был лично знаком с деканом Университета штата Огайо. Уверен, что она замечательная женщина и без колебаний подписала бы нужную мне бумагу, которая, по сути, была не более чем простой формальностью. Однако обращаться к ней с просьбой я не посмел. Мы с этой женщиной никогда не встречались, я у нее не учился, и, что самое важное, я ей не доверял. Какими бы достоинствами она ни обладала, для меня она была человеком посторонним. Преподаватели, которых я просил написать рекомендательные письма, мое доверие заслужили. Я видел их каждый день, писал у них контрольные, делал задания… Как бы я ни любил свой колледж, я просто не мог отдать судьбу в руки незнакомки.

Я пытался себя переубедить. Даже распечатал бланк и поехал с ним в кампус. Но когда настало время, просто скомкал бумагу и выбросил ее в урну. Дорога в Стэнфорд была закрыта.

Я решил, что меня больше привлекает Йельский университет. У него была особая аура: Йель благодаря своим маленьким академическим группам и уникальной системе оценок считался наиболее удобной стартовой площадкой для начинающего юриста. Беда в том, что подавляющее большинство его студентов — выходцы из частных элитных колледжей, поэтому я считал, что с государственным колледжем за плечами там делать нечего. И

все же на всякий случай подал онлайн-заявку.

Одним весенним днем в 2010 году, вскоре после полудня, у меня зазвонил телефон, и на экране высветился номер с незнакомым кодом «203». Я ответил. Звонивший представился директором приемной комиссии Йельской школы права и сообщил, что меня приняли в выпуск 2013 года. Я был в таком восторге, что весь разговор плясал от радости. Когда мой собеседник распрощался, я бросился звонить тетушке Ви, и та, услыхав в трубке мой взволнованный голос, сперва решила, что я попал в аварию.

Эта идея — учиться в Йеле! — меня так захватила, что я был готов влезть в любые долги. Учеба стоила двести тысяч долларов — немыслимые деньги! Однако университет неожиданно предложил финансовую поддержку, которая превзошла все самые смелые ожидания. Первый курс оплатили практически полностью. Не потому что я и впрямь это заслужил; просто оказалось, что я едва ли не самый бедный учащийся из всего потока, а Йель всегда щедро финансировал нуждающихся студентов. Впервые на моей памяти мне предложили такую прорву денег! Йель не только воплотил собой все мои желания, он еще и обошелся намного дешевле любого другого университета.

В «Нью-Йорк таймс» недавно писали, что самые дорогие учебные заведения, как ни парадоксально, вполне доступны студентам с низкими доходами. Возьмем, к примеру, парня, чьи родители зарабатывают тридцать тысяч долларов в год — сумму, ненамного превышающую прожиточный минимум. Такому студенту учеба в любой не самой престижной школе Висконсинского университета обойдется в десять тысяч долларов в год, но если обратиться в главный филиал, расположенный в Мадисоне, то там заплатить надо будет всего шесть тысяч. А вот в Гарварде с такого студента попросят сущие гроши — всего тысячу триста, хотя в целом обучение там стоит более сорока тысяч долларов за год! Разумеется, абитуриенты вроде меня этого не знают. Мой приятель Нейт, умнейший человек на всем белом свете, хотел поступить в Чикагский университет, однако не подал документы, потому что испугался стоимости обучения.

Хотя Чикагский университет наверняка бы обошелся ему гораздо дешевле Университета штата Огайо.

Следующие несколько месяцев я готовился к переезду. Тетушка и ее знакомый предложили мне работу на местном складе напольной плитки, и я все лето водил погрузчик, таскал ящики и мел полы. К осени скопил небольшую сумму, чтобы обосноваться в Нью-Хейвене.

День отъезда запомнился на всю жизнь. В этот раз все было

по-другому, не так, как в те дни, когда я прежде уезжал из Мидлтауна. Собираясь в армию, я знал, что рано или поздно вернусь домой. Переезд в Колумбус после четырех лет в корпусе морской пехоты и вовсе прошел незаметно… В общем, уезжать из Мидлтауна мне было не впервой, и прежде я всегда испытывал острую тоску. Но сейчас я знал, что никогда не вернусь. И меня это не заботило. Мидлтаун больше не был мне домом.

В первый же день в Йельской школе права меня встретили развешанные повсюду плакаты, сообщавшие о визите Тони Блэра, бывшего премьер-министра Великобритании. Правда новость не вызвала ожидаемого ажиотажа. Я не верил своим ушам: чтобы Тони Блэр собрался к какому-то жалкому десятку студентов? В Университете штата Огайо его ждала бы огромная аудитория, битком набитая людьми! «А, он постоянно здесь бывает! — махнул рукой один мой приятель. — В Йеле учится его сын». Еще через пару дней я свернул за угол возле главного корпуса и чуть не сбил с ног мужчину. Буркнул: «Извините», поднял голову и обомлел — это был губернатор штата Нью-Йорк Джордж Патаки!.. В общем, знаменитостей я здесь встречал едва ли не каждую неделю. Йельская школа права оказалась чем-то вроде Голливуда для зевак, и я, как турист, не переставал изумленно пялиться по сторонам.

Первый семестр был специально устроен так, чтобы упростить студентам жизнь. Пока мои друзья в других юридических школах не разгибали спины в библиотеке и тряслись над рейтингом оценок, который заставлял их конкурировать с однокурсниками, наш декан просил уделять больше времени своим личным предпочтениям, а об оценках пока не думать. Первые четыре дисциплины оценивались по принципу «зачтено / не зачтено», что значительно облегчало учебный процесс. На одной из таких дисциплин, семинаре по конституционному праву, наша группа из шестнадцати человек сроднилась настолько, что стала фактически семьей. Мы называли себя «островом потерянных игрушек»[65], потому что у всех нас не было ровным счетом ничего общего. Консерватор-хиллбилли из Аппалачей, гениальная дочка индийских иммигрантов, темнокожий канадец с уличным прошлым, нейробиолог из Финикса, начинающий юрист в области гражданского права, живший по соседству с главным кампусом Йеля, чрезвычайно прогрессивная лесбиянка с фантастическим чувством юмора — все мы были совершенно разными, но сдружились раз и навсегда.

Тот первый год в Йеле буквально сводил меня с ума (в хорошем смысле слова). Я всегда любил американскую историю,

а некоторые здешние здания были возведены еще до Войны за независимость. Иногда я гулял по кампусу и искал на домах таблички с датой постройки. Да и сами дома были удивительной красоты — величественные шедевры неоготической архитектуры. Сложная резьба по камню и отделка деревом внутри создавали впечатление, будто ты угодил прямиком в средневековье. Порой мы даже шутили, что учимся в Юридической школе Хогвартса. Да, пожалуй, популярная серия книг про юных волшебников лучше всего описывала здешнюю атмосферу.

Задания нам давали очень сложные, порой приходилось ночи напролет просиживать в библиотеке, однако учиться было не так уж трудно. В глубине души я боялся, что мой обман вот-вот раскроют и меня, искренне извинившись, отошлют обратно в Мидлтаун. В конце концов, здесь учились умнейшие студенты мира, а я даже не готовился к поступлению! Хотя на самом деле все было совсем не так. Да, в Йеле попадались настоящие вундеркинды, но в основной своей массе студенты были отнюдь не гениальны. На практических занятиях и контрольных я вовсе не выглядел последним дураком.

Впрочем, учеба не всегда давалась легко. Прежде я думал, что неплохо справляюсь с творческими работами, но однажды сдал эссе одному профессору, известному своей строгостью, а тот вернул его все исчерканное, с необычайно ядовитыми примечаниями на полях. «Хуже некуда», — написал он на одной странице. На другой обвел целый абзац и сделал пометку: «Бессвязный набор слов. Переделать!» До меня доходили слухи, что этот преподаватель считал, будто в Йель надо принимать выпускников только из колледжей вроде Гарварда, Стэнфорда и Принстона. «Мы здесь не затем, чтобы учить студентов с нуля, а некоторым учащимся государственных школ явно не хватает базовых знаний». Я твердо решил, что после общения со мной он изменит свое мнение. Так и вышло: к концу семестра профессор называл мои работы «блестящими» и все-таки признал свою ошибку: мол, подготовка в государственных колледжах не так уж и плоха.

Итак, первый курс близился к концу, и я понемногу торжествовал: с преподавателями складывались прекрасные отношения, я зарабатывал дополнительные баллы, а на лето так и вовсе нашел работу мечты — помощником главного юриста действующего сенатора США.

И все же Йель заронил мне в душу семя сомнений: а на своем ли я месте? Слишком уж все было хорошо. В моем окружении никогда не было выпускников Лиги плюща, я первым в своей семье пошел в колледж и единственный из всей многочисленной

родни поступил в университет. Когда я приехал сюда в августе 2010 года, в числе выпускников Йеля значились двое действующих судей Верховного суда, двое из последних шести президентов, а также нынешний государственный секретарь (Хиллари Клинтон). В Йельском университете были весьма сложные социальные ритуалы: деловые связи и личные отношения завязывались на коктейльных вечеринках и банкетах. Так я оказался среди тех, кого дома презрительно именовали «элитой», и, рослый белый мужчина, на первый взгляд ничем от них не отличался. Но только на первый. Меня не оставляло чувство, что я здесь не в своей тарелке.

Отчасти оно было связано с классовым положением. По результатам недавнего студенческого опроса, более 95 % учащихся Йельской школы права относятся к среднему классу и выше. Таких, как я, в Йельской школе права практически не было. При всем разнообразии студентов Лиги плюща, где учились и черные, и белые, и евреи, и мусульмане, все они происходили из полных семей, не испытывающих недостатка в средствах. В самом начале первого курса мы с приятелями веселились в одной закусочной Нью-Хейвена. Устроили там жуткий бардак: раскидали повсюду грязную посуду с объедками, забрызгали столы кетчупом и колой… Мне было стыдно оставлять за собой мусор, ведь какому-то бедняге предстояло отмывать потом зал, поэтому я решил хоть немного навести порядок. Из всей нашей компании помочь мне вызвался только один человек — Джамиль, тоже выходец из бедного района. Я потом сказал Джамилю, что мы, наверное, единственные из всего университета решили хоть разок за собой прибрать. Он лишь молча кивнул.

Пусть я рос в довольно нестандартных условиях, в Мидлтауне я никогда не чувствовал себя чужим. Каждый мой приятель так или иначе столкнулся с какими-то проблемами в семье: у кого-то развелись родители, кого-то воспитывал отчим, кто-то и вовсе рос без отца, потому что тот сидел в тюрьме… Мало кто из старшего поколения работал юристом, инженером или учителем или вообще имел хоть какое-то высшее образование. По меркам Мамо, такие люди считались «богачами», хотя как по мне, они были не столь уж обеспеченными, чтобы причислять их к элите. Они жили по соседству с нами, водили детей в ту же школу и в целом занимались тем же, что и мы. Я всегда мог прийти к любому своему приятелю и чувствовать себя как дома.

А вот в Йельской школе права меня не покидали мысли, будто я угодил прямиком в страну Оз. Люди всерьез утверждали, что хирурги и инженеры — это не элита, а представители среднего класса, не более того. В Мидлтауне зарплата в 160 тысяч

долларов казалась запредельной; выпускники Йеля зарабатывают столько в первый же год после получения диплома, причем многие студенты уже во время учебы тревожатся, что этого не хватит на достойную жизнь.

И дело не только в деньгах или в их отсутствии. Дело в самом отношении людей. Йель впервые заставил меня осознать, что моя жизнь со стороны выглядит странной. Отчего-то мое банальное прошлое вызывало у преподавателей и однокурсников искренний интерес. Подумаешь: родился в Огайо, рос в семье рабочих, окончил государственную школу… Обычные дела для всех, кого я знал. Но в Йеле это казалось необычным. Даже служба в армии — и та в Огайо была в порядке вещей, а вот в Йеле живые участники новейших войн появлялись крайне редко. Иными словами, в университете я был аномалией.

Первое время я даже радовался тому, что здесь нет других морских пехотинцев с южным говором. Однако когда я сблизился с однокурсниками, мне стало немного не по себе от той лжи, которую пришлось бы им нагородить. «Моя мать медсестра», — всегда говорил я. Хотя на самом деле она давно не работала в медицине. Еще я понятия не имел, где живет и чем занимается мой законный отец: тот, чье имя вписано в документы; для меня он был совершенно чужим человеком. Никто, за исключением ближайших друзей из Мидлтауна, не знал о тех страшных событиях, которые случались в моем прошлом.

В Йеле я решил, что отныне все будет по-другому.

Не знаю, что заставило меня передумать. Может, я перестал наконец стыдиться: это ведь не я, а мои родители совершали ошибки, моей вины нет, поэтому нет смысла их скрывать. Но больше всего меня пугало, что до сих пор никто не знал, какую роль в моей судьбе сыграли бабушка с дедушкой. Даже самые близкие друзья не представляли, какой пустой была бы жизнь без Мамо и Папо. Возможно, я просто решил отдать им должное.

Однако были и другие причины. Поняв, как сильно я отличаюсь от однокурсников, я в то же время начал сознавать, как много у меня общего с теми, кто остался дома. Поэтому внезапные успехи стали вызывать в душе когнитивный диссонанс. Во время одной из поездок домой я заехал на заправку. Женщина у соседней колонки завела со мной разговор. Я заметил на ее футболке знакомый логотип. «В Йеле учились?» — спросил я. — «Нет, там учится мой племянник, — ответила она. — А вы где учитесь?» Я замялся, не зная, что ответить. Как ни странно, мне до сих пор не верилось, что я тоже в Лиге плюща. Кто же я теперь: студент Йельской школы права или простой мидлтаунец с бабкой и дедом-хиллбилли? В первом случае можно было бы обменяться

с женщиной любезностями и поговорить о красотах Нью-Хейвена; во втором она наверняка сама свернула бы разговор, не желая откровенничать с чужаком. Думаю, на коктейльных вечеринках она с племянником не раз посмеивалась над деревенщиной из Огайо, чуть что хватавшейся за оружие или крест. Я не стал с ней любезничать. Мой ответ был жалкой попыткой найти культурный компромисс: «В Йеле учится моя девушка». После этого я сел в машину и уехал.

Тот случай наглядно показывает внутренний конфликт, вызванный стремительным подъемом на социальном лифте: я солгал незнакомке, чтобы не считать себя предателем. Тому можно найти немало причин. Например, сомнение, о котором я уже говорил прежде: когда успех кажется не просто запредельным, он вообще не для людей моего круга. Впрочем, от этого чувства бабушка почти меня избавила.

Другая причина заключается в том, что новое окружение тебя тоже отторгает — как профессор, который считал, что Йельская школа права не должна принимать абитуриентов из государственных учебных заведений. Сложно сказать, как такое отношение на самом деле влияет на рабочий класс. Все мы знаем, что американцы из рабочей среды не только крайне редко поднимаются на другой социальный уровень, но и с большой долей вероятности не могут потом удержаться на вершине успеха. Я считаю, что определенную роль в их падении играет дискомфорт, который они испытывают, вынужденно отказавшись от своего «Я». Для развития вертикальной мобильности мало одной лишь мудрой государственной политики, еще надо сделать так, чтобы высший класс дружелюбнее встречал новичков.

Все мы возносим хвалу социальной мобильности, однако у нее есть и недостатки. Мобильность предполагает движение, по идее, в сторону лучшей жизни — но при этом многие старые привычки приходится оставлять за спиной.

Теперь я провожу свой отпуск в Панаме и Англии; покупаю продукты в «Хоул фудс»[66] и смотрю оркестровые концерты. Пытаюсь побороть зависимость от переработанного сахара (до чего громоздкий термин!). Беспокоюсь о расовых предрассудках среди друзей и близких.

Само по себе это неплохо. Во многом даже хорошо: я всегда мечтал побывать в Англии, а ограничение сладкого идет организму на пользу. И все же мой пример наглядно показывает: социальная мобильность — это не только деньги и экономика, но и изменение образа жизни. Богатые и власть имущие не просто располагают большими деньгами и связями, они живут согласно другим нормам и ценностям. Когда из класса «синих

воротничков» ты переходишь в разряд «белых», все твои прежние привычки становятся как минимум немодными, а то и вовсе опасными для здоровья. Особенно наглядно это проявилось в тот день, когда я по глупости пригласил приятелей из Йеля пообедать в «Крекер Баррель»[67]. В Мидлтауне он считался рестораном с крайне изысканной кухней, мы с бабушкой его обожали. Друзья из Йеля сочли «Крекер» образчиком дешевого общепита и воплощением кризиса социального здравоохранения.

Впрочем, не могу сказать, что процесс адаптации был слишком труден; выпади мне второй шанс, я все равно согласился бы потерпеть некоторые неудобства ради своей нынешней жизни. Но когда я понял, что в этом новом мире я культурный инопланетянин, то стал всерьез задумываться над вопросами, которые мучили меня еще с юных лет: почему никто из моей школы не попал в Лигу плюща? Почему людей вроде меня так мало в элитных учебных заведениях Америки? Почему в моем окружении часто случаются семейные конфликты и драмы? Почему я не сомневался, что Йель и Гарвард мне не светят? И почему успешные люди считают иначе?

Глава тринадцатая

Раздумывая над этими вопросами, я сдружился с однокурсницей по имени Юша. По счастливой случайности нас назначили на один проект, поэтому весь первый курс мы общались довольно-таки близко. Юша оказалась генетической аномалией: она сочетала в себе абсолютно все положительные качества, какие только можно представить в женщине: умная, талантливая, красивая, высокая… Мы с приятелями даже шутили, что будь у Юши мерзкий характер, из нее вышла бы отличная героиня для романов Айн Рэнд[68]. Однако Юша обладала невероятным чувством юмора и вдобавок была на удивление прямолинейна. Там, где другие завуалированно намекают: мол, наверное, лучше перефразировать или еще подумать над выводами, Юша всегда говорит без обиняков: «Ужасный аргумент, никуда не годится» и «По-моему, надо переделать». Однажды в баре она уставилась на нашего общего знакомого и совершенно серьезно произнесла: «До чего у тебя все-таки крохотная голова». Никогда не встречал женщин вроде нее.

Я и прежде влюблялся в девушек: иногда всерьез, иногда не очень. С Юшей все было по-другому. Я постоянно думал только о ней. Один приятель сказал, что я «втюрился», другой — что я сильно изменился. К концу первого курса я наконец выяснил, что Юша ни с кем не встречается, и сразу пригласил ее на свидание. В тот же вечер я признался ей в любви. Это нарушало все мыслимые правила отношений с девушками, которые я усвоил с юных лет, — но мне было все равно.

Юша стала моим проводником по Йелю. Она училась здесь в колледже, поэтому знала лучшие закусочные и кофейни. И не только это: она интуитивно чувствовала, когда у меня возникали трудности с учебой, и подсказывала, как их решить. «Попроси о консультации. Здешние преподаватели любят возиться со студентами. По личному опыту знаю». Благодаря Юше я чувствовал себя в Йеле, прежде непривычном и чужом, как дома.

Я пошел в университет, чтобы получить диплом в области юриспруденции. И за один год в Йеле узнал об устройстве мира больше, чем за всю прошлую жизнь. Каждый август в Нью-Хейвен приезжают работодатели из престижнейших юридических фирм, чтобы присмотреться к новому поколению молодых талантливых юристов. Студенты называют это ПОС — сокращенно от «программы осенних собеседований». ПОС — настоящий марафон ужинов, коктейльных вечеринок, приемов и интервью. В мой первый день ПОС перед началом второго курса я прошел сразу

шесть собеседований, в том числе с фирмой, на которую рассчитывал больше всего: «Гибсон, Данн и Кратчер» (Или просто «Гибсон-Данн»); у них была юридическая практика в элитном районе Вашингтона, округ Колумбия.

Собеседование с «Гибсон-Данн» прошло гладко, и меня пригласили на ужин в самом модном ресторане Нью-Хейвена, который, по слухам, должен был стать своего рода второй ступенькой отбора: если вести себя непринужденно и впечатлить собеседников манерами, то тебя позовут в Вашингтон или Нью-Йорк для финального собеседования. Было даже жаль, что кулинарные шедевры тамошнего повара придется дегустировать в столь напряженной остановке.

Перед ужином нас собрали в банкетном зале, чтобы выпить вина и пообщаться. Женщины старше меня лет на десять разносили бутылки, завернутые в красивые салфетки, каждые две минуты спрашивая, подлить ли мне еще вина или, может, принести новый бокал? Сперва я слишком нервничал, чтобы пить. Потом осмелел и согласился на вино, а когда спросили, что я предпочитаю, попросил белого, решив, что такого ответа будет вполне достаточно. «Вам совиньон блан или шардоне?» — огорошили меня.

Сперва я решил, что официантка издевается. Потом применил дедукцию и догадался, что речь идет о разных сортах белого вина. Поэтому заказал шардоне — не потому что не знал, что собой представляет совиньон блан (хотя, если честно, то не знал), а потому что шардоне проще выговорить. Итак, вечер только начался, а я уже допустил первый промах.

На подобных мероприятиях следует ловко балансировать между скромностью и нахальством. Я пытался быть собой: всегда считал себя общительным, но не чересчур навязчивым. Правда обстановка вокруг располагала к тому, чтобы пялиться во все глаза на убранство зала и поражаться вслух стоимости этого барахла.

Бокалы блестели так, словно их отдраили стеклоочистителем. Костюмы официантов явно не купили на распродаже, а пошили на заказ из чистого шелка. Скатерти на столах были мягче моих простыней. И вот в такой обстановке мне предстояло «быть собой»! Когда мы наконец сели ужинать, я решил сосредоточиться на одной задаче: получить работу, а все восторги оставить на потом.

Такой настрой продлился ровно две минуты. Мы заняли свои места, и официантка спросила, принести мне фильтрованной воды или минеральной. Я невольно закатил глаза: каким бы пафосным ни был ресторан, называть воду «минеральной» уже

слишком — не минералы же в ней вымачивают, в конце концов… Тем не менее я заказал именно минеральную воду. Наверное, она лучше. Полезнее для здоровья.

Я сделал только один глоток и поперхнулся — самая мерзкая жидкость, какую я только пробовал! Помню, как однажды налил в «Сабвее» диетической колы, но оказалось, что она без сиропа — закончился. На вкус та дрянь была точь-в-точь как эта «минеральная вода». «Какая-то она у вас странная», — возмутился я. Официантка извинилась и пообещала принести новую бутылку «Пеллегрино»[69]. Только тогда я понял, что «минеральная вода» означает «газированная». К счастью, мой позор заметил только один человек — моя однокурсница. Я взбодрился. Больше никаких промахов!

Однако тут я посмотрел на стол и увидел неимоверное количество посуды. Девять столовых приборов? Интересно, зачем мне разом три ложки? И к чему столько ножей — для масла? Затем я припомнил один эпизод из фильма: вроде бы есть какие-то правила этикета относительно того, куда надо класть столовые приборы и в каком порядке ими пользоваться… Я извинился, выскочил в туалет и позвонил своей духовной наставнице: «Юша, что мне делать с этими чертовыми вилками? Не хочу выглядеть дураком!» Вооружившись ее советом: «Сперва брать самые крайние приборы, а потом те, что ближе к тарелке; не есть грязными вилками новые блюда, и да, та толстая ложка — для супа», я вернулся за столик, готовый поразить своих будущих работодателей прекрасными манерами.

Остаток вечера прошел без происшествий. Я вежливо болтал, вовремя вспомнив, что Линдси всегда заставляла меня сперва прожевывать пищу и лишь потом открывать рот. Разговор шел о профессии, об учебе в Йеле, о корпоративной культуре и немного о политике. Рекрутеры оказались очень славными людьми, и за моим столиком приглашение на работу получили все — включая бестолкового парня, который плевался минералкой.

Именно во время этой трапезы, за которой последовали новые собеседования и интервью, я начал понимать, что изнутри вижу систему, недоступную большинству моих прежних товарищей. В йельском центре по трудоустройству не раз подчеркивали: очень важно вести себя естественно, быть человеком, ради которого интервьюеры готовы приехать на другой конец страны. В общем-то, это логично — в конце концов, кому хочется работать вместе с нахалом и сволочью? — но непонятно, почему на этом акцентировалось такое внимание. Нам говорили, что рекрутеры оценивают нас не по студенческим достижениям (диплом Йеля сам по себе уже открывал все двери),

собеседования были скорее тестом социальным: на умение вести себя в корпоративном конференц-зале и налаживать связи с потенциальными клиентами.

Считалось, что сложнее всего именно попасть на собеседование. Правда у меня с этим трудностей не возникло. Всю неделю я поражался тому, до чего легко получить доступ к самым уважаемым юристам страны. Все мои друзья прошли через десяток интервью и почти везде получили предложение сотрудничать дальше. Лично у меня было шестнадцать собеседований, и к концу недели я так избаловался (и устал), что пару приглашений даже отклонил. Годом ранее, после колледжа, я мыкался в поисках приличной работы и везде получал отказ. Теперь же, после одного курса в Йеле, мне предлагали шестизначную зарплату — причем делали это люди, которые работали в Верховном суде США!

Было очевидно, что поиски работы зависят от какой-то мистической силы, и я только что ощутил на себе ее воздействие. Мне всегда казалось, что, если тебе нужна работа, надо открыть интернет-сайт биржи труда и посмотреть вакансии. Разослать в десяток мест резюме. А потом молиться, чтобы хоть кто-то перезвонил. У некоторых везунчиков был приятель, который мог бы в отделе кадров положить твое резюме поверх стопки. Если профессия востребованная — вроде бухгалтера, — то, вероятно, процесс занимал немного меньше времени. Хотя в целом правила одни и те же.

Увы, таким путем ты почти наверняка ничего не добьешься. За одну неделю я понял, что успешные люди ведут совсем другую игру. Они не выкладывают резюме на биржу труда в надежде, что кто-то из работодателей им соблазнится. Они действуют иначе — через сложную сеть знакомств. Шлют письма напрямую, зная наверняка, что адресат их получит. У каждого за спиной есть дядюшка или кузен со связями. Благодаря университетской службе трудоустройства они проходят собеседования заранее, а родители объясняют им, как надо одеваться, что говорить и к кому обращаться за помощью.

Это вовсе не значит, что твое резюме или результаты собеседования ничего не решают. Безусловно, они тоже важны. Однако куда больший вес имеет так называемый «социальный капитал». Это термин из области науки, его используют экономисты, но сама концепция довольно проста: все наше окружение, люди и учреждения, имеет свою цену. Они позволяют связаться с нужным человеком либо получить ценную информацию. Без них мы — ничто.

Это я уяснил на собственном опыте — весьма болезненном —

во время одного из последних собеседований. К тому моменту все разговоры велись по одному сценарию, словно заезженная пластинка: меня спрашивали об интересах, хобби, будущей специализации. Затем интересовались, есть ли у меня какие-то вопросы. Через десяток интервью заученные ответы отлетали от зубов сами собой, а дотошностью я не уступал бывалым юристам. Беда в том, что на самом деле я понятия не имел, чем хочу заниматься и в какой области права буду специализироваться. Я даже не знал, что означают мои вопросы о «корпоративной культуре» и «условиях отдыха для сотрудников». Весь процесс собеседования походил на отрепетированный спектакль. Мне не хотелось выглядеть дураком, поэтому я успешно отыгрывал свою роль.

И вдруг я зашел в тупик. Последний интервьюер задал вопрос, которого я не ожидал: почему мне вообще хочется работать в юридической фирме? Вопрос был элементарным, но я слишком привык рассуждать о своем интересе к антимонопольному праву (немного кривя при этом душой), поэтому от столь неожиданного поворота просто опешил. Конечно, следовало сказать что-нибудь про желание учиться у лучших или интерес к судебным тяжбам… Что угодно, кроме той дурости, которая сорвалась у меня с языка: «Если честно, не знаю; говорят, там много платят. Ха-ха!» Интервьюер пораженно замер, словно у меня на лбу вдруг вырос третий глаз, и свернул разговор.

Я был уверен, что облажался. Самым позорным образом завалил собеседование. Однако в закулисье одна из моих преподавательниц уже звонила своему бывшему партнеру, чтобы замолвить за меня словечко: сказать, что я умный и способный парнишка и обязательно стану хорошим юристом. «Она пела тебе дифирамбы», — так мне потом сказали. Поэтому меня, невзирая на досадный промах, пригласили на следующий этап отбора, и, в конце концов, я получил приглашение к сотрудничеству. Старая поговорка гласит, что дуракам везет.

В Йеле связи — все равно что воздух, которым дышишь. Их не замечаешь, но без них никуда. В конце первого курса многие студенты, как правило, принимают участие в конкурсе Юридического журнала Йельского университета. Там публикуются аналитические статьи из области права, преимущественно для академического сообщества. Обывателю они довольно скучны, почти как инструкция для батареек, потому что написаны сухим формальным языком (например, «вопреки ожиданиям, мы готовы утверждать, что разработка, реализация и внедрение проекта вызовут ряд затруднений, поскольку правовая

система склонна скорее подтасовывать факты, нежели стимулировать развитие»). А если серьезно, статья в журнале — это очень важно. Подобная внеучебная деятельность имеет самый большой вес в глазах работодателей; некоторые фирмы берут выпускников только с научными публикациями в портфолио.

Хотя конкурс стартовал в апреле, многие начали готовиться задолго до этого дня. Так, один мой друг по совету недавнего выпускника (и своего хорошего приятеля) засел за книги еще до Рождества. Другому приятелю помогал второкурсник, который прежде, еще в колледже, был его соседом по комнате — он давал советы, как выработать наиболее оптимальную стратегию работы с текстом. Черновики приносили на вычитку знакомым выпускникам из элитных консалтинговых фирм, и те критиковали каждую строчку. В общем, куда ни глянь, все студенты сбивались в стайки, привлекая на помощь старшекурсников, чтобы узнать побольше о самом важном испытании года.

Я один не понимал, что происходит. Здесь не было других студентов из Университета штата Огайо, которые подсказали бы, как быть. Я подозревал, что публикация пошла бы на пользу — хотя бы потому, что одним из редакторов журнала была Соня Сотомайор из Верховного суда. Однако в чем ее важность, я не знал и вообще не представлял, с какой стороны подступиться к задаче. Весь процесс работы над статьей представлялся мне темным лесом, а ориентиров никаких не было.

В Йеле, конечно, имелись официальные каналы информации, но по ним распространялась крайне противоречивая информация. Йель очень гордится своей бесконфликтной малоконкурентной системой обучения. Увы, у нее тоже есть недостатки. Никто не понимал, на самом ли деле так важна публикация. Нам говорили, что это огромный стимул для карьеры — но писать статью отнюдь необязательно. Если работу вдруг не примут, то переживать не о чем — хотя в некоторые фирмы без статьи не возьмут… Причем все это было чистой правдой: в некоторых областях юриспруденции публикация совершенно не нужна, только вот в каких именно, я не знал и не представлял, где это можно выяснить.

Меня выручила Эми Чуа, одна из моих преподавательниц. Она рассказала, зачем нужна публикация: «Авторство в журнале полезно, если ты хочешь работать судьей или развивать науку. Если ты еще не определился с будущей карьерой — дерзай». Это был совет на миллион долларов. Поскольку будущее представлялось мне весьма туманным, я решил попытать счастье. На первом курсе, конечно, ничего не вышло, зато на втором я постарался и стал автором престижной публикации. Впрочем,

главное не это; главное — что я с помощью профессора закрыл информационный пробел. Можно сказать, прозрел.

Эми и потом помогала мне сориентироваться на незнакомой местности. Йельская школа права — это три года важнейших карьерных решений. С одной стороны, приятно иметь перед собой много перспектив. С другой, я не представлял, что с ними делать и как добиться какой-нибудь долгосрочной цели. Которой, к слову, у меня не было. Я просто хотел получить диплом и найти хорошую работу. Смутно представлял, что надо бы пойти на государственную службу и закрыть долги перед Йелем. Никаких конкретных идей.

А жизнь тем временем меня не ждала. Не успел я поступить в университет, как сразу пошли разговоры о стажировке. Можно было на один год устроиться секретарем федерального судьи. Для молодого юриста это был бы фантастический опыт — секретари изучали судебные документы, собирали данные по прецедентам и даже помогали составить заключение. Отзывы о стажировке были исключительно восторженными, а работодатели из частного сектора охотно выплачивали бывшим секретарям за их опыт многотысячные премии.

Все, что я знал о стажировке, было чистой правдой; к сожалению, знал я удручающе мало. В действительности этот процесс очень сложен и многогранен. Сперва надо решить, в каком именно суде ты хочешь стажироваться: там, где рассматриваются рядовые дела или куда попадают апелляционные жалобы на решение судей низших инстанций? Затем определиться с регионом. Показать себя, конечно, проще всего в Верховном суде: судьи-«федералы», само собой, нанимают самых конкурентоспособных стажеров, но отсюда и определенный риск: если выиграешь дело — считай, ты на полпути в палаты высшего суда страны; если проиграешь — так и застрянешь на всю жизнь где-то в низах. Вдобавок ко всему важна специфика тесного общения с судьями такого ранга. Никому не хочется тратить целый год на то, чтобы быть на побегушках у кретина в черной мантии.

Нет никакой общей базы данных, нет источника, где можно узнать, кто из судей приятен в общении, а кто — нет, как попасть в Верховный суд и какой суд — первой инстанции или апелляционный — лучше. Более того, говорить вслух о таких вещах неприлично. Не спрашивать же у преподавателя, который выписывает тебе направление на стажировку, хороший ли по натуре человек этот самый судья?

Такого рода информацию можно получить только из социальной сети: надо общаться со студентами, свести

знакомство с теми, кто прежде работал на должности секретаря, искать общий язык с преподавателями, которые готовы дать предельно откровенный ответ. К тому времени я успел выяснить, что лучший способ использовать возможности социальной сети — задавать вопросы. Так я и сделал. Эми Чуа сказала, что мне не стоит идти на стажировку к элитному федеральному судье, потому что для моих амбиций это будет не самый перспективный опыт. Однако я настаивал; она сдалась и обещала замолвить за меня словечко перед одним высокопоставленным человеком, у которого были хорошие связи в Верховном суде.

Я собрал все нужные документы: резюме, копию публикации и мотивационное письмо. Хотя, если честно, не знаю, чего я рассчитывал этим добиться. Возможно, хотел удостовериться, что я с моим южным говором и деревенским происхождением и в самом деле студент элитного учебного заведения. Или просто тупо следовал за стадом.

Через пару дней после того как я отдал документы, Эми пригласила меня к себе и сообщила, что я попал в шорт-лист претендентов. У меня затрепетало сердце. Оставалось лишь пройти собеседование — и я получу работу! А раз за меня замолвят словечко, на собеседование я обязательно попаду!

Так я понял истинную стоимость социального капитала. Правда в итоге Эми Чуа звонить судье не стала. Сперва она заявила, что нам предстоит серьезный разговор, и при встрече была очень мрачной. «Мне кажется, тобой движут неверные мотивы, — сказала она. — Если ты не собираешься делать карьеру в Верховном суде, такая стажировка тебе ни к чему».

Еще она сказала, что быть секретарем у такого судьи непросто. Он требователен до крайности. Его стажеры на весь год могут забыть про отпуск и выходные. Затем Эми затронула личный вопрос, зная, что у меня недавно завязался роман. «Такая стажировка разрушит любые отношения. Мой тебе совет: выбери Юшу и определись уже, чего хочешь от будущей жизни».

Это был прекрасный совет, и я к нему прислушался, отозвав заявку. Не могу сказать, получил бы я ту работу или нет… Может, я слишком самонадеян: все-таки оценки у меня были отнюдь не блестящими. Так или иначе, именно Эми не позволила мне сделать шаг, который направил бы мою жизнь в другое русло. Благодаря ей я сохранил отношения с будущей женой, а самое главное — я нашел свое место в этой чужой и непривычной обстановке: наметил свой путь и больше не шел на поводу у недальновидных амбиций. Мой преподаватель позволил мне быть самим собой.

Трудно оценить истинную цену этого совета, ведь он до сих

пор приносит мне дивиденды. Однако определенная экономическая стоимость у него все-таки есть. Социальный капитал — это не только полезные связи: люди, которые снабжают тебя информацией или дают ход твоему резюме. Это в первую очередь то, чему мы учимся у наших друзей, коллег и наставников. Прежде я не умел расставлять приоритеты и искать в жизни правильные пути. Социальная сеть в лице уважаемого профессора помогла мне нащупать ориентиры.

Я стал наращивать свой социальный капитал. Какое-то время работал над созданием сайта для Дэвида Фрума[70] журналиста и общественного деятеля, который теперь пишет для «Атлантик»[71]. Я уже почти согласился взять на себя обязательства перед одной юридической фирмой в округе Колумбия, когда Дэвид предложил мне другой вариант — компанию, где партнерами недавно стали двое его знакомых из администрации Буша. Один из них пригласил меня на собеседование, предложил работу и вообще многому научил. Позднее я пересекся с ним на конференции в Йеле, и тот представил меня своему давнему приятелю из Белого дома, губернатору Индианы Митчу Дэниелсу (моему политическому кумиру). Если бы не мудрый совет Дэвида, я бы никогда не попал в ту фирму или не перекинулся бы словом со столь крупным общественным деятелем, которым искренне восхищаюсь.

Впрочем, мне по-прежнему хотелось пройти стажировку на должности секретаря. Теперь я уяснил, чего именно рассчитываю добиться: получить солидный опыт работы, пообщаться с опытным судьей, перенять его навыки, но при этом быть рядом с Юшей. Поэтому на стажировку мы с ней пошли вместе. Попали в северный Кентукки, неподалеку от того места, где я рос. Идеальный для нас вариант! С боссом мы сразу нашли общий язык, практически сдружились — настолько, что потом даже попросили его зарегистрировать наш брак.

Таков один из секретов жизни успешного человека: социальный капитал повсюду. Те, кто умеет его использовать, процветают. Кто не умеет, не способен выбраться из низов. Дети вроде меня крайне редко получают к нему доступ. Вот список того (далеко не исчерпывающий), о чем до Йельской школы права я не имел ни малейшего понятия:

— На собеседование надо надевать деловой костюм.

— Наряд брутального мачо уместен далеко не в любой ситуации.

— Нож для масла лежит на столе не просто так (хотя при желании вместо него можно использовать ложку или вовсе указательный палец).

— Кожзам и кожа — разные вещи. Туфли и ремень должны друг с другом сочетаться.

— В некоторых городах и штатах найти работу гораздо проще.

— Учеба в перспективном колледже — не только повод для хвастовства, но и определенные преимущества.

— Финансы — это целая индустрия.

Мамо всегда обижалась на стереотип про хиллбилли — что мы не более чем горстка тупых идиотов. Но правда в том, что я и в самом деле не имел ни малейшего представления о том, как добиться успеха, а нехватка подобных знаний часто влечет за собой серьезные экономические последствия. Это стоило мне хорошей вакансии во время учебы в колледже (потому что брюки цвета хаки и военные ботинки, как выяснилось, для собеседования не годятся) и могло обойтись еще дороже в университете, если бы не люди, которые направили меня в верную сторону.

Глава четырнадцатая

В начале второго курса я почувствовал, что жизнь налаживается. После летней подработки в сенате США я вернулся в Нью-Хейвен с ворохом новых впечатлений и друзей. У меня была прекрасная девушка, впереди маячила работа в хорошей юридической фирме. Люди моего круга о таком не смели и мечтать, и я уже поздравлял себя с успешным взлетом по социальной лестнице. Я поднялся намного выше своих родителей: матери-наркоманки и отца, который меня бросил. Жаль только, Мамо и Папо не было рядом, чтобы разделить мой успех.

Однако порой, особенно в отношениях с Юшей, мелькали первые предвестники беды. Спустя несколько месяцев после нашего знакомства она наконец подобрала для меня верное определение. По ее словам, я был черепахой. «Всякий раз, когда возникают трудности, не трудности даже, а заминки, ты уходишь в себя. Замыкаешься словно в панцире».

Она попала в самую точку. Я понятия не имел, как преодолевать трудности в личной жизни, поэтому предпочитал закрывать на них глаза. Мог накричать на Юшу, если она делала что-то не так. Или просто встать и молча уйти. Вот единственные инструменты решения конфликтов, которые я знал. При мыслях о скандале в душе вскипала целая буря эмоций: злость, страх, тревога… Все-таки мне досталось от родных дурное наследство, как я ни хотел этого избежать.

Поэтому я пытался уйти… Юша меня не пускала. Я не раз хотел порвать отношения, но она говорила, что это глупо, ведь без нее я не справлюсь. Я закатывал скандалы и истерики. Говорил всякие гадости, совсем как моя мать, а потом ужасно жалел и стыдился. Всю свою жизнь я считал мать злодейкой, а теперь превращался в ее подобие.

На втором году обучения мы с Юшей несколько раз съездили в округ Колумбия, чтобы пройти дополнительные собеседования в юридических фирмах. Однажды я вернулся в наш гостиничный номер не в духе — завалил интервью в одной из фирм, где хотелось бы работать. Юша пыталась меня утешить, сказала, что я все равно неплохо держался — лучше, чем ожидалось, — и вообще на свете полно лучших вакансий. Но я вспылил. «Не смей говорить, какой я молодец! Не надо искать мне оправданий! Если бы я себя оправдывал, так и торчал бы до сих пор в грязной дыре!»

Я выбежал из номера и принялся бродить по улицам Вашингтона. Вспоминал тот день, когда мать после очередного

скандала с Бобом увезла меня с моим любимым плюшевым пуделем в мидлтаунскую гостиницу. Мы пробыли там несколько дней, пока бабушка не убедила мать, что надо вернуться домой и решать свои проблемы как взрослая. А еще я вспоминал рассказы о том, как мать в детстве убегала с сестрой через черный ход, чтобы не проводить очередную кошмарную ночь под одной крышей с пьяным отцом. Видимо, стремление к бегству было у меня в крови.

Я стоял возле Театра Форда — исторического места, где Джон Уилкс Бут застрелил Авраама Линкольна. В магазинчике на углу продавали сувениры с портретом Линкольна. В витрине сидела огромная надувная кукла с лицом президента. Мне казалось, кукла со своей широченной улыбкой надо мной издевается. Какого черта она лыбится во все зубы? Линкольн был человеком крайне меланхоличным; если он когда и улыбался, то явно не в том месте, где ему пальнули в голову!

Я свернул за угол и через пару кварталов увидел Юшу — та сидела на ступеньках Театра Форда. Она искала меня, опасаясь бросать одного. В тот момент я осознал, что у меня проблема: мне предстоит борьба с теми же демонами, которые на протяжении многих поколений заставляли членов моей семьи издеваться над родными и близкими. Я извинился перед Юшей. Думал, она меня пошлет и мне придется несколько дней заглаживать вину. Искренние извинения — это ведь капитуляция, а когда твой противник сдается, самое время требовать крови. Однако Юша была не такой. Она вытерла слезы и спокойно сказала, что не надо больше убегать, лучше просто сесть и поговорить. А потом обняла меня и добавила, что принимает мои извинения. И вообще, главное, что я жив и здоров, а то она очень за меня переживала. На этом мы поставили в нашем скандале точку.

Юше не пришлось в детстве, как мне, сносить удар за ударом. Когда я в День благодарения познакомился с ее родными, меня поразила мирная атмосфера в их семье. Мать Юши никогда не жаловалась на ее отца. Семейных друзей не называли за спиной мошенниками и врунами. Золовки не отпускали колкости в адрес невесток. Родители Юши, казалось, искренне уважают ее бабушку и с любовью говорят о своих братьях и сестрах. Когда я спросил отца о каком-то родственнике, который давно оборвал с семьей связь, то ожидал, что сейчас мне примутся рассказывать, какой тот подонок. Вместо этого услышал сочувствие и легкую грусть, а еще, что куда более важно, житейскую мудрость: «Я до сих пор звоню ему, справляюсь, как дела. Нельзя просто взять и забыть про родного человека, пусть даже у него теперь своя жизнь. Надо

поддерживать связь».

Я всерьез подумывал, не сходить ли мне к психологу, хотя тошнило от одной мысли, что придется вываливать свои чувства незнакомцу. Вместо этого я пошел в библиотеку и выяснил, что поведение, которое я считал привычным, давно является предметом научного осмысления. Психологи называют такое детство, как у меня и Линдси, «неблагоприятным детским опытом», или НДО. НДО — это травматические события в детстве, которые имеют последствия в зрелом возрасте. Травма ведь бывает не только физической. Вот наиболее частые события или эмоции, которые влекут за собой НДО:

— родители часто вас оскорбляли и унижали;

— вас пугали, толкали, хватали и шлепали;

— в вашей семье не ценили друг друга и не поддерживали в разных начинаниях;

— родители развелись или жили отдельно;

— вы жили с алкоголиком или наркоманом;

— вы жили с человеком, больным депрессией или пытавшимся совершить самоубийство;

— на ваших глазах близкий человек подвергался насилию.

НДО встречается везде, в любом сообществе. Однако исследования показывают, что чаще всего его наблюдают в той демографической среде, где рос я. Отчет детского целевого фонда штата Винсконсин, например, показал, что среди людей, имеющих высшее образование («белых воротничков»), с НДО столкнулись менее половины опрошенных, в то время как среди рабочего класса больше половины респондентов отметили один пункт опросника и около 40 % — сразу несколько. Только представьте: четыре человека из десяти не раз испытывали в детстве психологические травмы! Среди «белых воротничков» таковых было всего 29 %.

Я дал опросник, который психологи используют для выявления НДО, тетушке Ви, дядюшке Дэну, Линдси и Юше. Тетушка Ви отметила семь пунктов — больше, чем мы с Линдси (у нас было по шесть). Дэн и Юша — двое самых странных людей в нашей семье — ни одного. Эти чудики в детстве никогда не испытывали травм!

Дети с множественным НДО чаще страдают от тревоги и депрессии, у них диагностируют сердечно-сосудистые заболевания и ожирение, нередки случаи рака. Еще они с большей долей вероятности не справляются с учебой, а в зрелом возрасте не могут наладить отношения с противоположным полом. Даже чересчур громкие крики могут нарушить чувство безопасности у ребенка, повлиять на детскую психику и

спровоцировать в будущем поведенческие проблемы.

Педиатры из Гарварда изучали влияние детских травм на психику. Помимо негативных последствий для здоровья врачи также обнаружили, что постоянный стресс изменяет у ребенка химический состав мозга. В конце концов, стресс — это физиологическая реакция, следствие того, что в организме в ответ на какой-то раздражитель повышается уровень адреналина и прочих гормонов. Иными словами, возникает классическая реакция в духе «бей или беги», которой мы учимся еще в начальной школе. Иногда под воздействием гормонов самые обыкновенные люди совершают героические подвиги, демонстрируют редкую силу и храбрость. Мать способна поднять тяжелую плиту придавившую ребенка; пожилая женщина ради спасения мужа — придушить голыми руками горного льва.

К несчастью, в постоянном режиме реакция «бей или беги» разрушает организм. По словам доктора Надин Бурк Харрис, адреналин спасет вас, «если вдруг в лесу вы повстречали медведя. Однако беда в том, что своего медведя вы встречаете каждый вечер, когда он приходит из бара». В таком случае, как обнаружили исследователи из Гарварда, участок мозга, отвечающий за действия в стрессовой ситуации, разрастается. «Значительный стресс в раннем детстве, — пишут они, — <…> приводит к гиперактивной или хронически активизированной физиологической реакции на стресс наряду с чувством повышенного страха и тревоги». У детей вроде меня часть мозга, отвечающая за стресс и конфликт, всегда активна, а предохранитель не срабатывает. Мы постоянно готовы драться или бежать, потому что медведь всегда рядом — будь то пьяный отец или разгневанная мать. Мы скованы конфликтом по рукам и ногам и таскаем эти оковы с собой, даже если в доме мир и покой.

Семьи американских рабочих, с какой стороны ни посмотреть, находятся в крайне нестабильной ситуации — хуже просто не представить. Взять, к примеру, череду маминых кавалеров, кандидатов нам в отцы. Такого не может быть ни в одной другой стране. Во Франции, например, количество детей, у которых сменилось более трех отчимов — менее половины процента, то есть один ребенок из двухсот. В Швеции (где второй по величине мировой показатель) — 2,6 %, или один из сорока. В США эта цифра составляет 8,2 %, то есть каждый двенадцатый ребенок! Причем если брать для анализа исключительно рабочий класс, эти цифры будут еще выше. Самое грустное в том, что нестабильные отношения, как и домашние конфликты, неизбежно замыкаются в порочный круг. Как выяснили социологи Паула

Форнби и Эндрю Черлин, «все большее количество источников свидетельствует о том, что дети, претерпевающие многочисленные изменения в составе семьи, могут развиваться хуже детей, воспитывающихся в стабильных семьях с двумя родителями или только с одним».

Многие дети хотят лишь одного — бежать от кошмара куда подальше. Беда в том, что, если бежать вслепую, редко удается найти верный путь. Поэтому моя тетя в шестнадцать лет вышла замуж за абьюзера. Мать на пороге зрелых лет имела ребенка на руках, развод за плечами и ни одного диплома, хотя учеба в школе давалась ей легко. Из огня да в полымя. Хаос рождает хаос. Слабость приводит к слабости. Добро пожаловать в семейную жизнь американских хиллбилли.

Разобравшись со своим прошлым и осознав, что не обречен, я воспрянул духом и стал искать в себе силы для борьбы с демонами моей юности. Пусть это банально, но самое лучшее лекарство — поговорить с людьми, которые тебя понимают. Поэтому я спросил у тетушки Ви, как ей удается не конфликтовать с Дэном, и она почти рефлекторно ответила: «Знаешь, я ждала с ним скандалов. Иногда настраивалась заранее, запасалась аргументами — а он вдруг замолкал и переставал со мной спорить». Я был потрясен. У тетушки Ви и Дэна самые трепетные отношения на свете. Даже после двадцати лет брака они ведут себя так, будто поженились только вчера. Когда тетушка Ви поняла, что ей не надо ждать от мужа упреков и оскорблений, их союз стал только крепче.

Линдси сказала то же самое: «Я орала на Кевина, оскорбляла его, гнала из дому. А он только спрашивал: “Что с тобой? Почему ты видишь во мне врага?”» Все просто: в нашем родном доме зачастую трудно было отличить друга от врага. Прошло шестнадцать лет, а Линдси до сих пор замужем.

Я много думал о себе, о тех эмоциональных триггерах, которыми обзавелся в первые восемнадцать лет жизни. Понял, что не верю извинениям, ведь обычно к ним прибегали, чтобы усыпить мою бдительность. Именно мамино «прости» убедило меня десять лет назад сесть к ней в машину и отправиться в ту злосчастную поездку. Еще я стал понимать, почему стараюсь ткнуть в самое больное место: так делали все окружающие меня люди, я просто следую их примеру. Скандал — это война, слово — оружие, и ты любой ценой должен победить.

Легко тут не справиться. Я продолжаю бороться со вспыльчивостью, причем не всегда успешно. Иногда пережить бурю проще, если представить, что согласно статистике я в свои годы должен сидеть в тюрьме или обзавестись четвертым

внебрачным ребенком. Но иногда кажется, что я не справлюсь: что скандалы и развод с Юшей — лишь дело времени, судьба, которой мне не избежать. В самые худшие минуты я готов поверить, что выхода просто нет и, как бы я ни боролся с демонами, они — такое же мое наследие, как и русые волосы с голубыми глазами. Печальный факт в том, что без Юши мне не справиться. При всем старании я могу лишь отсрочить взрыв, и ей приходится с величайшей осторожностью обезвреживать бомбу. Не только я научился контролировать себя, но и Юша научилась мною управлять. Поместите нас в одну среду — и у вас будет положительный эффект радиоактивности. Не удивительно, что каждый член моей семьи, добившийся маломальского успеха — тетушка Ви, Линдси, моя кузина Гейл, — выбрал себе в супруги человека не из нашего круга.

Вот так и вышло, что красиво выстроенный рассказ о моей жизни вдруг развалился. Предполагалось, что в конце книги я стану намного лучше, чем прежде. Стану сильнее. При первой же возможности я вырвался из родного города, отдал долг своему государству, окончил колледж, поступил в лучшую юридическую школу страны… У меня не должно быть ни грехов, ни изъянов. Однако на деле вышло по-другому. То, к чему я стремился всей душой — счастливый брак и приятная атмосфера в доме, — давалось с большим трудом. Моя самооценка была ниже некуда, приходилось прикрывать ее высокомерием. К началу второго курса я не общался с матерью уже несколько месяцев — самый долгий перерыв в наших с нею отношениях. Я испытывал к ней любовь, жалость, гнев, ненависть… никогда не было только сочувствия. В лучшем случае приходили мысли, что мать страдает неким генетическим заболеванием (оставалось надеяться, что сам я его не унаследовал). Но когда я начал замечать в себе ее повадки, то стал понемногу сознавать, что ею двигало.

Дядя Джимми сказал однажды, что давным-давно он был свидетелем спора между Мамо и Папо. Бев тогда опять влипла в какие-то неприятности, ей срочно потребовалась крупная сумма денег. Обычное дело, родители всегда приходили ей на выручку — правда не просто так. В тот раз ей ограничили бюджет и поставили несколько условий. Такова была цена родительской помощи. И вот они сидели, обсуждали план действий, как вдруг Папо уронил голову на руки и — немыслимое дело! — разрыдался. «Я подвел ее! — выдавил он сквозь слезы. И принялся повторять: — Я подвел ее. Подвел. Подвел мою девочку».

У Папо редко бывали срывы — только когда вставал какой-нибудь необычайно острый для хиллбилли вопрос. Какой ценой

мать должна искупить свои ошибки? Где грань между чувством вины и сочувствием?

У всех нас были свои соображения по этому поводу. Дядюшке Джимми претила сама мысль о том, чтобы возложить вину за мамины поступки на Папо. «Никто ее не подводил. Что бы у нее ни случилось, сама во всем виновата». Тетушка Ви разделяла его точку зрения. Да и как иначе? Она была всего на девятнадцать месяцев младше матери, тоже натерпелась в детстве от родителей, наделала своих ошибок, но все-таки взяла себя в руки. Если удалось ей — то удастся и Бев. А вот Линдси ей сочувствовала, хотя и считала, что пора бы матери не искать оправданий, а брать на себя ответственность за поступки.

Сам же я испытывал смешанные чувства. Какую бы значимую роль Папо и Мамо ни сыграли в моей жизни, их вечные скандалы и алкоголизм наверняка не лучшим образом сказались на психике дочери. Даже детьми мать с тетушкой Ви реагировали на семейные драмы по-разному. Если тетушка Ви умоляла родителей успокоиться или отвлекала их, принимая удар на себя, то мать пряталась, убегала или просто падала на пол, затыкая уши. Ей приходилось тяжелее, чем брату или сестре. В каком-то смысле наша мать проиграла борьбу со статистикой. Хорошо еще, что только она одна.

Одно я знаю наверняка: наша мать вовсе не злодейка. Она любит меня и Линдси, всеми силами пытается быть хорошей. Иногда ей это удается, иногда не очень. Она пыталась обрести счастье и в любви, и на работе, но слишком часто слушала бесов в своей голове. Однако все упреки в ее адрес совершенно заслужены. Никакие трагедии в детстве никому — ни мне, ни Линдси, ни тетушке Ви, ни матери — не дают карт-бланша на дикие выходки.

Мать всю жизнь вызывала у меня необычайно яркие эмоции. В детстве я так сильно ее обожал, что, когда кто-то из одноклассников высмеял ее зонтик, я с размаху ударил приятеля кулаком в лицо. Потом возненавидел ее, когда она подсела на наркотики; порой даже мечтал, чтобы она приняла слишком большую дозу и наконец избавила нас с сестрой от мучений. А когда она после очередного развода рыдала в подушку, я бесился от такой злости, что готов был убивать.

Незадолго до окончания университета мне позвонила Линдси и сказала, что мать подсела на новый наркотик — героин, но согласна снова пройти реабилитацию. Я уже сбился со счета, сколько раз она отправлялась на лечение и сколько ночей провела в больнице, едва очухавшись от очередной дозы. Поэтому удивляться или тревожиться я не стал, хотя слово «героин»

прозвучало как удар хлыста — в мире наркоты он вроде дерби в Кентукки[72]. Услыхав о ее новых предпочтениях, я словно воочию увидел тучу, которая много недель нависала у меня над головой. Наверное, в тот день я окончательно потерял веру в мать.

И тогда впервые я испытал не любовь, не ненависть и не ярость, а страх. Страх за нее. И за Линдси, которой вновь придется решать мамины проблемы, потому что я живу на другом конце страны. А больше всего — страх за себя: вдруг и меня ждет та же проклятая участь? Через несколько месяцев я должен был получить диплом Йельского университета и ощутить себя повелителем мира. Вместо этого я удивлялся, что вообще здесь делаю: неужели люди вроде меня и впрямь способны добиться чего-то стоящего?

Когда мы с Юшей окончили учебу, на вручение диплома приехало восемнадцать человек, включая Дениз и Гейл, дочерей бабушкиных братьев. Приехали и родители Юши, а также ее родной дядя. Замечательные люди, хоть и не такие шумные, как мы. Впервые наши семьи встретились и даже нашли общий язык (хоть Дениз весьма колко отозвалась об «искусстве» в том музее, где мы побывали всей компанией!).

Мамина война с наркотиками завершилась как всегда — хрупким перемирием. На выпускной она не приехала, но с героином к тому времени завязала, так что все было хорошо. В самом начале церемонии выступила судья Соня Сотомайор, заявив, что никогда нельзя сомневаться в своем выборе. Наверное, она говорила о карьере, однако я увидел в ее словах более глубокий смысл. В Йеле меня научили многому. Не только праву — но и тому, что этот мир всегда будет для меня немного чужим. А еще что быть хиллбилли — значит порой не видеть разницы между войной и любовью. И именно это смущало меня сильнее всего.

Глава пятнадцатая

Лучше всего я помню тех чертовых пауков. Гигантских, вроде тарантулов. Я подошел к стойке администратора в грязном придорожном отеле. Женщина по ту сторону толстого стекла, разумеется, не имела никакого представления о гостиничном сервисе. В свете уличной лампы блестела паутина, клочьями свисавшая с самодельного навеса от солнца, который обещал вот-вот рухнуть на голову. И на каждой нити сидел жирный паук. Складывалось впечатление, что, если отвести от этих тварей взгляд, одна из них прыгнет мне в лицо и высосет всю кровь.

Я чувствовал себя не в своей тарелке. Всю жизнь я потратил на то, чтобы избегать подобных мест; из родного города я бежал именно от такой беспроглядной нищеты. На дворе стояла поздняя ночь. В свете уличного фонаря я видел на парковке мужчину — тот полулежал у себя в грузовике, свесив ноги из распахнутой двери, а в руке у него торчала игла для подкожных инъекций. Мне, наверное, стоило ужаснуться. Да, таков Мидлтаун. Двумя неделями ранее неподалеку, возле автомойки, нашли в машине женщину без сознания; на пассажирском сиденье у нее лежал пакетик героина с ложкой, а рядом валялся шприц.

Администратор отеля представляла собой жалкое зрелище. Вряд ли ей было больше сорока, но все в ее облике — от жирных седых волос до беззубого рта и хмурого взгляда, тяжелого, словно мельничный жернов — кричало о грузе прожитых лет. Ей выпала тяжелая жизнь. Голосом очень высоким, как у ребенка, говорила она тихо и неразборчиво, а еще очень-очень грустно.

Я дал ей кредитку, и она опешила, явно не зная, что делать с куском пластика. «Обычно люди платят наличными», — пояснила она. Я напомнил: «Я вас по телефону предупреждал, что расплачусь картой. Впрочем, если есть проблема, могу дойти до банкомата». «Ох, простите, я, наверное, забыла. Все нормально, у нас где-то была эта штуковина…» Она достала древний-древний терминал, еще из тех, что печатали чек на желтой бумаге. Когда я забрал карточку, женщина скорбно посмотрела на меня, словно узник, осужденный на пожизненное, и сказала: «Приятного вам отдыха». Накануне, во время телефонного разговора, я предупреждал ее, что комната не для меня, а для моей матери, оставшейся без дома.

Я только что окончил Йельскую школу права, публиковался в престижнейшем юридическом журнале и вступил в коллегию адвокатов. За пару месяцев до этого мы с Юшей поженились. На празднество в восточном Кентукки собралась вся моя семья.

Фамилию сменили мы оба, став четой Вэнсов. Так я наконец обрел то же имя, что и близкие мне люди. У меня была хорошая работа, новый дом, любимая жена и счастливая жизнь в чудесном городе Цинциннати. Мы с Юшей переехали туда ради стажировки, а потом решили там обосноваться, построили дом и обзавелись парочкой собак. Получилось! Я осуществил «американскую мечту»!

По крайней мере, так выглядело со стороны. Однако подъем на социальном лифте никогда не дается легко, и мир, который я оставил за спиной, так и норовил вернуть мою жизнь в прежнее русло. Я не помню всей цепочки событий, которые привели меня в тот отель, но главные вехи могу назвать. Мать снова подсела на наркотики. Украла у пятого мужа какие-то семейные реликвии и обменяла их на очередную дозу. Он в отместку выгнал ее из дома и подал на развод. Так мать осталась без крыши над головой.

Хотя я клялся, что никогда больше не буду ей помогать, человек, который давал эту клятву, стал другим. Я вновь проникся христианской верой, которую отверг много лет назад. Впервые понял, сколь глубоки эмоциональные травмы, полученные матерью в детстве, и осознал, что эти раны никогда не заживут. Поэтому услышав, что мать в беде, я не стал кричать на нее и бросать трубку. Я предложил ей помощь.

Я обзвонил отели Мидлтауна, пытаясь по телефону найти ей жилье. За гостиничный номер на одну неделю предстояло выложить целых сто пятьдесят долларов, но я решил, что тем самым выиграю время, чтобы разработать дальнейший план действий. Одна загвоздка: в отеле не принимали оплату по телефону, поэтому посреди ночи мне пришлось отправиться из Цинциннати в Мидлтаун (примерно час езды в одну сторону), чтобы обеспечить матери хоть какую-то крышу над головой.

Мой план был довольно простым. Я дам матери немного наличных на первое время, она подыщет себе съемное жилье, накопит денег на оплату рабочей лицензии и переедет потом в свой дом. А я буду контролировать ее финансы, чтобы избежать ненужных расходов.

Наверное, мой план мало чем отличался от тех «условий», которые в свое время выдвигали Папо и Мамо, но я убедил себя, что в этот раз все выйдет иначе.

Хотелось бы сказать, что помощь матери ничего мне не стоила. Что я примирился с прошлым и сумел решить все проблемы. Что, вооружившись сочувствием и пониманием, я терпеливо помогал матери преодолеть ее зависимость… На деле в той грязной гостинице я едва сдерживал тошноту, а контроль над финансами потребовал гораздо больше времени и терпения,

чем я изначально рассчитывал.

Милостью Господней я больше не бегал от матери. И все равно не мог в один миг стереть наше прошлое: по-прежнему злился на нее за тот путь, который она для себя избрала. По возможности поддерживал ее материально и духовно и в то же время давал себе отчет, что мои ресурсы небезграничны; я был готов проявить эгоизм, если вдруг придется выбирать между собственными счетами и материнскими.

Иногда люди спрашивают меня, что, на мой взгляд, необходимо сделать для «решения» каких-то проблем моего сообщества. Я знаю, что они хотят услышать в ответ: мол, власти должны принять какое-то судьбоносное решение, внедрить инновационную государственную программу… Однако проблемы семьи, веры и культуры — это не кубик Рубика, который можно собрать по готовой инструкции, и вряд ли решение (каким его видит большинство) существует в реальности. Один мой приятель долгое время работал в Белом доме и, искренне сопереживая бедственному положению рабочего класса, как-то сказал: «Пожалуй, лучше признать, что мы, наверное, никогда не добьемся стопроцентного успеха. Проблемы никуда не денутся. Однако мы вполне способны качнуть чашу весов в пользу этих страдальцев».

В мою пользу весы раскачивали не раз. Оглядываясь на прошлое, я вижу, сколько переменных должно было сложиться, чтобы мне выпал выигрышный билет. Бабушка с дедушкой всегда были рядом, как ни пыталась мать от них отвязаться. Несмотря на бесконечную череду отчимов, меня окружали любящие и заботливые люди. Мамо при всех своих недостатках привила мне любовь к учебе. Сестра защищала меня, даже когда я вырос и физически стал намного сильнее. Тетушка Ви и Дэн гостеприимно распахнули передо мной двери своего дома и показали мне на живом примере, что такое счастливый брак. Меня поддерживали учителя, дальние родственники, друзья…

Уберите хоть часть уравнения — и я, скорее всего, потерпел бы неудачу. Многие люди, в свое время преодолевшие трудности, говорят о том же. Например, Джейн Рекс, руководитель отдела по обмену студентами в Аппалачском государственном университете, как и я, выросла в рабочем квартале и единственная из всей семьи окончила колледж. Теперь она замужем уже более сорока лет и успела воспитать троих замечательных детей. Спросите, что изменило ее жизнь — и она расскажет вам про поддержку родных, которые вынуждали верить в светлое будущее и шагать к успеху. А еще о том, как важно мечтать о большем. «Перед глазами обязательно должен быть

хороший пример для подражания. У одной из моих подруг, например, отец был управляющим в банке, так что я видела, какой бывает жизнь. А значит, могла мечтать о таком же будущем и для себя».

Или взять, к примеру, мою любимую кузину Гейл, старшую в поколении моей матери, внуков Блантон. Вся ее жизнь — живое воплощение «американской мечты». Красивый дом, трое замечательных детей, счастливый брак и ангельский характер вдобавок… Она по праву унаследовала титул «милейшего человека на свете» от своей бабки, Мамо Блантон, которая в наших глазах — детей и внуков — была олицетворением самого божества.

Так вот, я предполагал, что Гейл живет как в сказке во многом благодаря своим родителям. «Разве можно быть таким милым, — думал я, — если в детстве тебя потрепало?» Но Гейл была из Блантонов, то есть коренная хиллбилли, и мне следовало бы помнить, что еще ни одному хиллбилли не удавалось дожить до совершеннолетия без испытаний и трудностей. В шкафу у Гейл хранились свои скелеты. Когда ей было семь лет, их бросил отец, а в семнадцать, когда она окончила школу и собралась поступать в колледж Университета Майами, мать невзлюбила ее тогдашнего парня и в ультимативной форме велела с ним расстаться. «Поэтому на следующий день я съехала из родительского дома, а к августу уже забеременела».

Жизнь Гейл покатилась под откос. Стоило ей признаться, что в семье будет черный ребенок, как тут же всплыли расовые предрассудки. Скандал набирал обороты, и в один прекрасный день от Гейл отвернулась вся родня. «Все до единого. Мать заявила, что они не желают меня знать».

Учитывая юный возраст новобрачных и отсутствие поддержки со стороны семьи, ничего удивительного, что брак вскоре распался. Гейл пришлось совсем туго: она не только осталась без родных, ей вдобавок приходилось одной воспитывать новорожденную дочь. «Появление малышки изменило всю мою жизнь. Я стала совсем другой. В душе хиппи, я поставила себе жесткие условия: никаких наркотиков, никакого алкоголя — короче, ни малейшего повода отнять у меня ребенка».

Так Гейл в юные годы стала матерью-одиночкой без семьи и поддержки. На ее месте многие опустили бы руки — только не хиллбилли! «Я уже и забыла, как выглядит отец, а с матерью мы не разговаривали, — вспоминает Гейл. — Зато я помнила, как они когда-то учили меня, что нельзя сдаваться, что мы можем получить все, чего только захотим. Я хотела этого ребенка и нормального будущего. И всего добилась сама». Она нашла

работу в местной телефонной компании, поднялась по служебной лестнице, вернулась в колледж. Снова вышла замуж, к тому времени выбравшись из нищеты. Сказочные отношения с ее вторым мужем, Алланом — просто вишенка на торте.

Мне доводилось видеть разные вариации этой истории. Подростки не раз попадают в непростую жизненную ситуацию — по своей ли вине или по воле судьбы… Статистика против них: слишком многие катятся на дно, в тюрьму или прямиком в могилу. Хотя некоторые, если повезет и позволяют обстоятельства, находят силы жить дальше. Такие, как Джейн Рекс и Линдси, которая расцвела в пору бабушкиной смерти; как тетушка Ви, которая наладила свою жизнь после тяжелого развода с первым мужем. Каждый из них так или иначе извлек пользу из негативного опыта. У них были близкие, на которых они могли положиться. На примере друзей, родственников или коллег они убедились, что добиться успеха вполне реально.

Вскоре после того как я задумался о том, чем можно помочь американскому рабочему классу, группа экономистов, включая Раджа Четти[73] опубликовала новаторское исследование в области рабочих перспектив в Америке. Выводы получились неутешительными: шансы ребенка из бедной семьи подняться на социальном лифте американской меритократии гораздо ниже, чем хотелось бы. Многие европейские страны дают больше возможностей осуществить «американскую мечту», чем сама Америка. И еще более важно, ученые обнаружили, что шансы заметно разнятся от региона к региону: в местах вроде Огайо, Оклахомы и Массачусетса идея «американской мечты» столь же популярна, как и в любом другом уголке мира, а вот на юге страны, в Ржавом поясе и Аппалачах детям из бедных семей приходится в буквальном смысле прогрызать себе дорогу в жизни. Выводы ученых удивили многих — но не меня. И никого из тех, кому доводилось бывать в этих краях.

Четти и его соавторы отметили в статье два очень важных факта, которые поясняли неравномерное распределение возможностей: преобладание неполных семей и сегрегация доходов. Если расти на попечении одной лишь матери или отца-одиночки, в окружении нищих соседей — это весьма сужает сферу твоих перспектив. Это значит, что рядом нет Папо и Мамо, готовых проследить, чтобы ты не свернул с намеченного пути. Это значит, что никто не покажет тебе на своем примере, что будет, если усердно трудиться и получить хорошее образование. Это значит, по сути, что рядом нет никого из тех людей, которые помогли мне, Линдси, Джейн Рекс или тетушке Ви получить свой кусочек счастья. Поэтому я не удивлен, что мормонская Юта с ее

сильной церковью, сплоченными общинами и полными семьями утерла нос Ржавому поясу Огайо.

Думаю, из моей жизни можно извлечь ценный урок: все мы способны качнуть чашу весов в нужную сторону. Мы в силах скорректировать отношение системы социального обеспечения к семьям вроде моей. Когда мне было двенадцать, я видел, как мою мать запихивают в полицейскую машину. Ей не впервой было попадать в участок, но в этот раз последствия были куда более серьезными. Мы привлекли внимание социальной системы, и теперь приходилось терпеть визиты соцработников и ходить на обязательные консультации к семейному психологу. Вердикт суда висел у меня над головой тяжелым лезвием гильотины.

По идее, социальные работники должны были выступать в моих интересах, однако вскоре стало очевидно, что они не более чем очередное препятствие на моем пути. Когда я проболтался им, что большую часть времени провожу у бабки с дедом и хотел бы переселиться к ним насовсем, мне ответили, что суд вряд ли санкционирует такое решение. В глазах закона моя бабушка не годилась в опекуны — у нее не было ни соответствующей лицензии, ни опыта. Если в суде для моей матери дела обернутся плохо, нас с Линдси, скорее всего, отдадут не Мамо, а в приемную семью. Меня тут же бросило в холодный пот. Поэтому я перестал трепать зря языком, заявил соцработникам, что все хорошо, и стал молить Бога о том, чтобы не остаться без родных.

Надежды оправдались: мать не попала в тюрьму, а меня оставили с бабушкой. Разумеется, неофициально: в теории я должен был жить у матери. Однако не у каждого есть спасение в лице сумасшедшей старухи-хиллбилли. Для многих детей служба социальной опеки — последнее звено государственной поддержки: если попасть к ним в лапы, тебя уже ничто не спасет.

Проблема отчасти заключается в том, что законы штата видят семью по-своему. В нашем сообществе, а еще у чернокожих или испаноязычных эмигрантов бабушки с дедушками, а также кузены, тетушки и дядья играют огромную роль в воспитании детей. Увы, социальные службы не рассматривают их как потенциальных опекунов. В некоторых штатах от опекуна требуют специализированного образования, например, наличия диплома медсестры или врача, даже если кандидат в близком родстве с ребенком. Иными словами, социальные службы в нашем государстве не учитывают специфику хиллбиллийских семей и зачастую делают только хуже.

Проблема масштабная. Ежегодно 640 тысяч детей, преимущественно из бедных семей, по несколько месяцев проводят в приемных семьях. Добавьте к ним тех, кто

подвергается насилию, но по каким-то причинам избегает системы патронажного воспитания (точное их количество никто не может назвать), и вы станете свидетелем настоящей эпидемии, которая по воле властей только набирает обороты.

Мы можем сделать многое. Можем выстроить политику так, чтобы она учитывала интересы детей вроде меня. Самый важный урок моей истории не в том, что общество нарочно ставило какие-то препятствия на моем пути. Начальная и средняя школа были не так уж плохи, учителя прикладывали все силы, чтобы до меня достучаться. Наша средняя школа занимала последнее место в рейтинге учебных заведений Огайо, но причиной тому были отнюдь не педагоги, а сами ученики. Я получил грант Пелла и субсидированный правительством студенческий заем под низкий процент, которые позволили мне поступить в колледж. Я никогда не голодал, во многом благодаря бабушкиным льготам, которыми она щедро со мной делилась. Конечно, меры социальной поддержки не идеальны, однако я сам виноват, что некоторое время ходил по краю; от властей ничего не зависело.

Недавно я встречался со своими учителями из альма-матер — старшей школы Мидлтауна. Все они в той или иной степени выражали беспокойство тем, что власти слишком поздно включаются в образовательный процесс и оттого тратят непозволительно много ресурсов. «Видимо, наши политики считают, что все решает колледж, — сказал мне один учитель. — Для кого-то — возможно. Но многие наши ученики знают, что колледж изначально не для них». Другой добавил: «Скандалы и драки — вот и все, что дети видят с ранних лет. Одна моя ученица недавно потеряла ребенка — практически на пустом месте, как теряют ключи от машины: просто не имела понятия, куда бы он мог подеваться. Две недели спустя его нашли в Нью-Йорке — с отцом-наркодилером и прочей тамошней родней». Забудем о чудесах: все мы знаем, какая участь уготована бедному малышу. Хотя если вмешаться именно сейчас, на данном этапе, еще можно что-то исправить.

На мой взгляд, любая политическая программа должна учитывать то, что мои бывшие педагоги видят каждый день: что истинная проблема этих детей в том бардаке, который творится у них дома. Пора уже признать: ваучеры по «Восьмой программе» должны выдаваться администрацией города таким образом, чтобы не делить бедных на маленькие анклавы. Как сказал Брайан Кэмбелл, учитель из Мидлтауна: «У вас на руках база семей, пользующихся “Восьмой программой”, вот и сделайте так, чтобы по отношению к налогоплательщикам среднего класса она образовывала перевернутый треугольник. Чем ниже доходы в

определенном районе, тем меньше там эмоциональных и финансовых ресурсов. Нельзя просто взять и собрать всех бедных в одном месте, тогда воцарится полная безнадега». С другой стороны, он добавил: «Объедините детей из семей с низкими доходами с теми, кому привычна иная модель жизни, и бедняги потянутся вслед за обеспеченными». Тем не менее, когда Мидлтаун попытался ограничить выдачу ваучеров в определенных районах города, этому решению воспротивились федеральные власти. Они решили, что нищим детям не место среди успешных людей.

Правительственная политика бессильна решить и другие проблемы нашего сообщества. Ребенком я считал, что хорошие оценки в школе — удел девчонок. Парни, на мой взгляд, должны быть сильными, смелыми, готовыми к драке, затем, позднее, пользоваться популярностью у девушек. Мальчишек, которые проявляли интерес к учебе, называли «хлюпиками» и «педиками». Не знаю, откуда взялось такое предубеждение. Разумеется, не от бабушки, которая заставляла меня учиться, и не от деда. Но так думал не я один; исследования доказывают, что мальчики из рабочего класса, вроде меня, плохо учатся в школе, потому что считают учебу сугубо женским занятием. Можно ли изменить это на законодательном уровне? Вряд ли. Порой весы не раскачать даже при большом желании.

Я узнал, что те черты характера, которые помогали мне выжить в детстве, в зрелом возрасте только мешают. В случае конфликта я предпочитаю убегать или драться. В моем нынешнем браке такой необходимости нет, но если бы не жена, детские стереотипы по-прежнему бы надо мной довлели. Я с юных лет привык транжирить деньги — потому что любую заначку (под матрасом или в ящике с нижним бельем, даже в бабушкином доме) могли найти и «взять в долг». Когда мы с Юшей приводили в порядок мои финансы, то ужаснулись, сколько у меня банковских счетов и просроченных карт.

Иногда Юше приходится напоминать, что не каждое оскорбительное замечание в мой адрес — от проезжающего мимо автомобилиста или соседа, которому не по нраву наши собаки — должно становиться поводом для кровной мести. И я, немного остыв, признаю, что она, пожалуй, права.

Пару лет назад мы ехали в Цинциннати, как вдруг меня подрезал автомобиль. Я засигналил. Водитель показал мне средний палец. Когда мы остановились на светофоре (этот наглец оказался передо мной), я расстегнул ремень безопасности и открыл дверцу машины — хотел потребовать извинений, выбить их силой, если придется. Затем возобладал здравый смысл, и я

вновь сел. Юша была рада, что я передумал сам и ей не пришлось приводить меня в чувство (как порой случалось). Она ужасно гордилась тем, что я сумел воспротивиться природному инстинкту. Вся вина того водителя заключалась в том, что он задел мою честь — а именно честь в моем детстве определяла право на счастье, она мешала школьным хулиганам меня задирать, сближала с матерью, на защиту которой я бросался, если вдруг кто-то хотел ее оскорбить (пусть даже зачинщик говорил чистую правду); она давала мне нечто такое, чем я мог управлять — сам, без посторонней помощи. Первые восемнадцать лет моей жизни уступить в конфликте значило прослыть «телкой», «слабаком» или «трусом». Та модель поведения, которой я обучился с юных лет, для успешного молодого человека не годилась.

После той стычки на дороге я несколько часов потом корил себя за трусость. И все же прогресс был очевиден. Лучше так, чем попасть в тюрьму за драку, пытаясь обучить нахала за рулем хорошим манерам.

Заключение

В прошлом году, незадолго до Рождества, я стоял в детском отделе «Уолмарта» в Вашингтоне и держал в руках список покупок. Глядя на полки с игрушками, с величайшим трудом отговаривал себя от того, чтобы купить их все скопом. Дело в том, что незадолго до этого я вызвался «усыновить» нуждающегося ребенка и получил в местном подразделении Армии спасения список рождественских подарков для моего подопечного.

Задача была вроде бы простой, однако каждый пункт списка вызывал у меня замечания. Пижама? Зачем? Бедняки не носят пижам! Мы спим в нижнем белье или джинсах. Даже сегодня я считаю пижамы прихотью элиты, вроде белужьей икры или аппарата для производства кубиков льда. Потом мне приглянулась игрушечная гитара — забавная и недорогая безделица, но тут я вспомнил, как бабушка с дедушкой однажды подарили мне электронное пианино, а мамин тогдашний приятель то и дело рявкал на меня, чтобы «я заткнул эту чертову хрень!». Учебники я покупать не стал, опасаясь тем самым унизить ребенка. В конце концов остановил свой выбор на одежде, игрушечном сотовом телефоне и пожарной машинке.

Я рос в мире, где Рождества ждали со страхом, потому что предстояли новые немалые траты. Мое нынешнее окружение — богатые и привилегированные — видит в празднике повод продемонстрировать свою щедрость. Многие престижные юридические компании спонсируют так называемые «ангельские программы», когда за каждым сотрудником закрепляется ребенок и ему надо купить подарки. Прежний работодатель Юши поощрял сотрудников «усыновлять» на праздники детей, чьи родители прошли через судебную систему. Координаторы программы надеялись, что, если малыши получат достойные подарки, их родители не испытают соблазна совершить новое преступление. Поэтому вот уже несколько лет я покупал игрушки для незнакомых мне детей.

Выбирая подарки, я всегда напоминаю себе: как бы низко ни стоял я на социально-экономической лестнице, всегда будут те, кто ниже меня: не у всех детей есть щедрые бабушка с дедушкой, а некоторые родители ради коробок под елкой готовы пойти на кражу (лишь бы не брать кредит до зарплаты). Такие мысли, между прочим, неплохо тонизируют. В моей жизни дефицит сменился изобилием, и подобные моменты заставляют задуматься, какой же я все-таки счастливчик.

И все же, совершая покупки для малообеспеченных детей, я

неизбежно вспоминаю о своем детстве и о том, какую опасность таили для нас рождественские подарки. Каждый год родители по всему нашему округу затевали ритуал, совершенно непохожий на традиции в моем нынешнем, материально благополучном окружении: во что бы то ни стало они пытались «обеспечить детям достойный праздник», который измерялся щедростью подарков. Если к вам вдруг за неделю до Рождества заглядывали гости, а под новогодней елкой было пусто, то приходилось оправдываться: «Мать еще не ходила по магазинам» или «Отцу в конце года должны дать большую премию, и нам накупят целую гору подарков». Так мы прикрывали печальную истину: что мы бедняки, и коллекционными фигурками черепашек-ниндзя этого не исправить.

Независимо от финансового положения наша семья каким-то образом умудрялась тратить на праздник больше, чем мы могли себе позволить. Кредиток у нас не было, но всегда можно найти выход. Можно написать на чеке более позднюю дату, чтобы его не удалось обналичить, пока на счету нет средств (давно известный прием). Можно взять краткосрочный заем до зарплаты. Или, в самом крайнем случае, одолжить денег у бабушки и дедушки. Помню, как зимой мать не раз умоляла Мамо и Папо дать ей взаймы денег, чтобы у внуков был «достойный праздник». Они не были согласны с маминым представлением о Рождестве, но в конечном счете неизменно уступали. И пусть в последний день, но под нашей елкой обязательно взгромождалась гора коробок с самыми модными и дорогими игрушками, хотя семейные сбережения после этого стремились к нулю и уходили в минус.

Когда я был маленьким, мать с Линдси буквально сбились с ног, разыскивая Тэдди Ракспина[74] — он пользовался такой популярностью, что все игрушки буквально смели с полок в первые же дни. А еще он был ужасно дорогим, и я в свои два года все равно не оценил бы подарок. Однако Линдси до сих пор помнит, как они весь день напролет бегали по магазинам. Наконец матери кто-то подсказал, что один парень готов перепродать игрушку с большой наценкой. Они с Линдси помчались к нему домой, чтобы добыть ту единственную вещь, которая отделяла меня от счастливого Рождества. О старине Тэдди я помню только одно: что, когда нашел его несколько лет спустя в дальнем углу гаража, он был весь в соплях и рваном свитере.

Благодаря праздникам я узнал о налоговых вычетах, когда бедняки в начале года получают от государства небольшую подачку, чтобы закрыть рождественские долги. «Мы можем себе это позволить, потом заплатим налоговым чеком» — такова была

наша рождественская мантра. Правда закрыть долги удавалось далеко не всегда. Порой, когда в начале января мать ходила в налоговую, случались неприятные казусы. Были случаи, когда дядюшка Сэм не мог покрыть наши расходы, сумма «кредита» оказывалась ниже наших расчетов, и тогда весь месяц мы жили впроголодь. Январь в Огайо — довольно депрессивное время.

Я думал, что богачи празднуют Рождество так же, как и мы, разве что меньше волнуются из-за расходов и могут позволить себе более дорогие подарки. Однако после рождения моей двоюродной сестренки Бонни в доме тетушки Ви воцарилась совсем другая атмосфера. Отчего-то ее дети получали более скромные подарки, нежели в свое время мы. Тетушка не пыталась превзойти очередной лимит в двести — триста долларов на каждого ребенка, не боялась оставить детей без очередного новенького гаджета. В одиннадцать лет Бонни и вовсе попросила отдать ее подарки нуждающимся детям Мидлтауна. Родители, как ни странно, согласились: они не измеряли семейный праздник стоимостью подношений, которые получит их дочь. И родители Юши тоже — моя жена, например, в детстве часто получала в подарок обычные книги.

В общем, если разделить две эти группы согласно их представлениям о празднике — богачи и бедняки, образованные и необразованные, высший класс и рабочие, — вы получите два совершенно разных мира. «Перебежчик» из одной группы в другую, я, как никто, понимаю разницу.

Иногда я смотрю на представителей элиты с почти первобытным презрением. Недавно один из моих знакомых использовал в речи слово «конфабуляция» — а я с трудом удержался от крика. Но надо отдать им должное: их дети счастливее и здоровее, они реже разводятся, чаще ходят в церковь и дольше живут. Короче, дают нам сто очков вперед!

Мне удалось избежать самого негативного влияния моей культуры. Хотя в новой жизни мне порой непросто, жаловаться не буду: в детстве я не смел о таком даже мечтать. И в том, чтобы эти мечты стали явью, свою роль сыграли многие люди. На каждом этапе я находил себе помощников, друзей и наставников.

Я часто думаю: что бы со мной стало без них? Вспоминаю свой первый год в старшей школе, когда я чуть было не покатился по наклонной, то утро, когда мать пришла к бабушке, требуя от меня сдать анализ мочи. Или те дни, когда по бумагам у меня было два отца: родной и приемный, а в реальности я не видел ни одного, и эту роль решил на себя примерить Папо, став мне лучшим отцом на свете. Или те месяцы, что я провел с Линдси, вынужденной в свои юные годы взять меня на воспитание, пока

наша мать лечилась от наркозависимости. Или когда Папо тайком провел нам в дом телефонную линию, а аппарат спрятал у меня в ящике с игрушками, чтобы Линдси могла в любую минуту позвонить Мамо и позвать ее на помощь. Я вспоминаю о том, как близко находился к краю пропасти, и по спине бегут ледяные мурашки. Все-таки я счастливчик.

Недавно я обедал с одним парнишкой, который в свои пятнадцать лет очень похож на меня прежнего. Мать Брайана, как и моя, подсела на наркотики, а с отцом у него отношения не сложились. Он приятный, спокойный, с добрым сердцем. Всю жизнь прожил в Кентукки; и обедали мы в местном ресторанчике быстрого питания, потому что других приличных мест в городе просто нет. Пока мы болтали, я заметил некоторые странности, на которые мало кто обратил бы внимание. Брайан, например, не захотел делиться со мной молочным коктейлем, что было необычно для мальчишки, в конце каждой фразы добавляющего «пожалуйста» или «спасибо». Он быстро расправился со своей порцией и стал шарить по залу взглядом, явно не решаясь о чем-то попросить. Я похлопал его по плечу и спросил, не заказать ли еще чего-нибудь. «Д-да, — робко вымолвил он, опустив глаза. И почти шепотом добавил: — Можно мне еще картошки фри?» В 2014 году в одной из самых богатых стран мира подросток голодал, но боялся попросить добавки. Помилуй нас, Господь!

Спустя несколько месяцев после нашей встречи у Брайана неожиданно умерла мать. Хотя он давно с нею не жил (к тому времени мать лишили родительских прав), все же новости о ее смерти воспринял не так легко, как можно было бы ожидать. Дело в том, что люди вроде Брайана и меня рвут связи с родителями не из безразличия — мы делаем это лишь затем, чтобы выжить. Однако по-прежнему любим своих близких и не теряем надежды на воссоединение семьи. Иными словами, на путь самосохранения нас толкает либо здравомыслие, либо законодательство.

Встал вопрос: что теперь будет с Брайаном? У парня нет бабушки с дедушкой, и хотя ему повезло остаться с родней и не угодить в приемную семью, его участь предрешена и о «нормальной жизни» можно уже не мечтать. За свою короткую жизнь парнишка и без того успел набить шишек, а вскоре ему предстоит выбирать себе судьбу: образование и карьеру — в общем, принимать решения, которые нелегко даются даже детям из обеспеченных семей.

Его будущее теперь зависит от людей, которые находятся рядом: от родственников и знакомых вроде меня, от всей нашей ватаги хиллбилли. Чтобы спасти парня, черт возьми, нам надо

очнуться! Смерть матери — просто очередная паршивая карта, выпавшая Брайану, но в колоде еще немало козырей, вполне способных переменить расклад: например, окружение, которое подскажет правильную дорогу, или церковь, которая посулит защиту и преподаст урок христианской любви и смирения. Все зависит от того, найдет ли Брайан поддержку и понимание со стороны родни и соседей.

Я верю, что круче нас, хиллбилли, на этой планете никого нет. Мы способны прирезать каждого, кто неодобрительно выскажется в адрес нашей матери. Скормить наглецу трусы, чтобы отстоять честь сестры. Но хватит ли нам сил помочь ребенку вроде Брайана? Сумеем ли мы убедить подростков вроде меня жить в мире с реальностью, а не абстрагироваться от нее? Сможем ли взглянуть на себя в зеркало и признать, что наше поведение идет во вред нашим детям?

Государственная политика способна лишь подтолкнуть нас в верном направлении, ни одно правительство не сумеет решить все проблемы за нас.

Вспомните, как мой двоюродный брат Майк продал дом своей матери — дом, который принадлежал нашей семье более века, — потому что иначе его разграбили бы соседи. Мамо перестала покупать внукам новые велосипеды, потому что они, даже пристегнутые цепью, то и дело исчезали с крыльца. В старости она боялась открывать дверь, ведь соседка — взрослая и вполне трудоспособная женщина — постоянно клянчила у нее деньги, которые, как потом оказалось, спускала на наркотики. Эти проблемы породили не корпорации и не элиты. Мы сами их создали — значит, нам их и решать.

Нам необязательно жить так, как живут власть имущие в Калифорнии, Нью-Йорке или Вашингтоне. Нет нужды работать не разгибая спины по сто часов в неделю в юридических фирмах или инвестиционных банках. Не надо скучать на коктейльных вечеринках. Нужно лишь создать такое общество, чтобы Брайаны и Джей Ди получали путевку в жизнь. Пока не знаю, что именно необходимо делать, зато знаю, с чего начать: перестать винить во всем Барака Обаму, Буша и безликие компании и спросить себя: а что могу сделать я? Как мне изменить мир к лучшему?

Интересно, снятся ли Брайану, как и мне, дурные сны? Двадцать лет я страдал от одного и того же кошмара. Первый раз я увидел его в семь лет, когда гостил в доме обожаемой Мамо Блантон. Во сне я стою в огромном зале какого-то дома на дереве, как у эльфов Киблера[75] где только что прошла вечеринка, еще даже не убрали столы и стулья. Со мной Линдси и Мамо. Вдруг в дальнем углу зала появляется мать и несется на нас, расшвыривая

во все стороны мебель. Она орет, но голос звучит неразборчиво, как из неисправного радиоприемника. Мамо с Линдси бегут к какой-то дыре в полу; видимо, там лестница. А я отчего-то мешкаю, и, когда добираюсь до выхода, мать уже совсем рядом — вот-вот схватит! Тут я всегда просыпаюсь и понимаю, что не только угодил во сне в лапы чудовища, но и сестра с бабушкой меня бросили.

Иногда чудовище принимало другой облик: превращалось в инструктора из военного лагеря, в бешеную собаку, в злодея из кино или во вредного учителя. Неизменным было одно: Мамо и Линдси всегда находились рядом, но убегали, не дождавшись меня.

Просыпался я с чувством дикого страха. Первый раз со всех ног припустил в гостиную к Мамо, которая допоздна смотрела телевизор. Я рассказал ей про сон и попросил никогда меня не бросать. Она дала слово и потом долго гладила по голове, пока я снова не заснул.

На долгие годы подсознание оставило меня в покое, однако вскоре после окончания юридического факультета я вновь увидел этот сон. Правда с некоторыми отличиями: на сей раз от чудовища убегал не я, а мой пес Каспер, который накануне сильно провинился. Линдси и Мамо тоже не было. А чудовищем оказался я сам.

Я гонял несчастного пса по всему дому, пытаясь поймать и придушить. Но потом ощутил его ужас, и мне стало стыдно за свою злость. Наконец я загнал Каспера в угол — однако сон не оборвался, как прежде. Пес тоскливо посмотрел на меня, как умеют только собаки, и я не стал его душить, а обнял и прижал к груди. Затем я проснулся. Вместо страха в душе было чувство невероятного облегчения, что я сумел взять себя в руки.

Я встал с кровати, чтобы выпить холодной воды, а когда вернулся с кухни, Каспер удивленно поднял голову: мол, чего тебе, странный человек, не спится в такой час? Было около двух — кажется, в то самое время я проснулся двадцать лет назад от такого же кошмара. Только Мамо уже не было рядом. Зато на полу дремали две моих собаки, а рядом в постели спала любимая женщина. Завтра я пойду на работу, потом выгуляю в парке псов, куплю с Юшей продуктов и приготовлю вкусный ужин. Вот и все, чего я хотел от жизни. Поэтому я погладил Каспера по голове и лег спать.

Благодарности

Работа над этой книгой оказалась самым сложным и полезным занятием в моей жизни. Я много узнал о своей культуре, о своем городе и своей семье, заодно вспомнил немало того, что успел позабыть. Я обязан выразить благодарность многим людям. Перечислю их в произвольном порядке.

Тина Беннет, чудесный агент, которая первой поверила в мой проект, даже когда сам я мучился сомнениями. Она подбадривала меня, если было нужно, подстегивала при необходимости и вела по длинному извилистому пути работы над книгой, который изначально до чертиков меня пугал. У нее сердце хиллбилли и душа поэта, и я ужасно горд называть ее своим другом.

Помимо Тины, эта книга во многом обязана своим появлением Эми Чуа, преподавательнице из Йельского университета; она убедила меня, что моя жизнь и уроки, которые я из нее извлек, вполне достойны пера и бумаги. Она мудра, как истинный академик, и терпелива, как Мать-тигрица[76]; я не раз обращался к ней за помощью и, что главное, всегда ее получал.

Вся команда из «Харпера» достойна отдельного упоминания. Джонатан Джао, мой редактор, помог мне осознать, чего я вообще хочу добиться этой книгой, и терпеливо двигал меня к нужной цели. София Групмен оценивала текст свежим взглядом, когда он отчаянно в этом нуждался. Джоанна, Тина и Кейти умело и бережно вели сквозь дебри маркетинга. Тим Дугган отважился дать этому проекту шанс, хотя особых причин верить в его успех не было. Спасибо всем им за их работу и за поддержку.

Многие люди читали разные версии рукописи и давали полезнейшие указания: от выбора слов в конкретном предложении до целесообразности удаления целой главы. Чарльз Тайлер, изучив один из самых ранних черновиков, помог определиться с ключевыми темами. Кайл Бамгарнер и Сэм Рудман засыпали меня в процессе работы над текстом важными рекомендациями. Киль Бреннан-Маркес, который много лет назад научил меня писать (во всех смыслах этого слова), неоднократно разносил мои заметки в пух и прах. Я безмерно благодарен им за все старания.

Еще я хотел бы выразить признательность многим людям, которые делились со мной подробностями своей личной жизни и карьеры; в частности Джейн Рекс, Салли Уильямсон, Дженнифер Макгаффи, Минди Фармер, Брайану Кэмпбеллу, Стиви Ван Гордону, Шерри Гастон, Катрине Рид, Элизабет Уилкинс, Джей Джей Снидоу и Джиму Уильямсону. Они сделали эту книгу

лучше, познакомили меня со свежими идеями и интересным опытом.

Мне повезло, что в моей жизни были Даррелл Старк, Нейт Эллис, Билл Забоски, Крейг Болдуин, Джамиль Дживани, Этан (Дуг) Фалланг, Кайл Уолш и Аарон Каш. Каждого из них я считаю не просто другом — практически братом. Мне повезло, что у меня были наставники и друзья с невероятными способностями, каждый из которых обеспечил мне доступ к возможностям, которых я просто не заслуживал. Среди них Рон Селби, Майк Страттон, Шеннон Арледж, Шон Хейни, Брэд Нельсон, Дэвид Фрам, Мэтт Джонсон, судья Дэвид Баннинг, Рейхан Салам, Аджай Ройан, Фред Молл и Питер Тиль. Многие эти люди читали мою рукопись и щедро делились отзывами.

Я невероятно многим обязан своей семье, особенно тем из них, кто открыл свое сердце и поделился воспоминаниями о прошлом, какими бы трудными или болезненными они ни были. Моя сестра Линдси Рэтлиф и тетушка Ви (Лори Мейберс) заслуживают особой благодарности как за помощь в написании этой книги, так и за поддержку меня на протяжении всей моей жизни. Также я благодарен Джиму Вэнсу, Дэну Мейберсу, Кевину Рэтлифу, матери, Бонни Роуз Мейберс, Ханне Мейберс, Кэмерону Рэтлифу, Меган Рэтлиф, Эмме Рэтлиф, Хэтти Хауншелл Блантон, Дону Бауману (моему отцу), Черил Бауман, Кори Бауману, Челси Бауман, Лакшми Чилукури, Криш Чилукури, Шрее Чилукури, Донне Вэнс, Рейчел Вэнс, Нейту Вэнсу, Лилли Хадсон Вэнс, Дейзи Хадсон Вэнс, Гейл Хубер, Аллану Хуберу, Майку Хуберу, Нику Хуберу, Дениз Блантон, Арси Стейси, Рику Стейси, Амбер Стейси, Адаму Стейси, Тахетону Стейси, Бетти Себастьян, Дэвиду Блантону, Гэри Блантону, Ванде Блантон, Пету Блантону, Тиберри Блантону и всем прочим сумасшедшим хиллбилли, которых я с гордостью называю своей семьей.

И наконец, самое главное — моей дорогой жене Юше, которая десятки раз прочла каждое слово рукописи и неоднократно высказывала свое мнение о книге (даже если я этого не хотел!). Она поддерживала меня, когда я хотел все бросить, и праздновала со мной успехи. Я многим обязан ей — не только с книгой, но и вообще со всей своей жизнью. Жаль, что Мамо и Папо не успели с нею познакомиться, но она главный источник радости в моей жизни!

Примечания автора

1. Razib Khan, “The Scots-Irish as Indigenous People,” Discover (July 22, 2012), http://blogs.discovermagazine.com/gnxp/20i2/o7/ the-scots-irish-as-indigenous-people/#. VY8zEBNViko.

2. “Kentucky Feudist Is Killed,” The New York Times (November 3,1909).

3. Ibid.

4. Phillip J. Obermiller, Thomas E. Wagner, and E. Bruce Tucker, Appalachian Odyssey: Historical Perspectives on the Great Migration, (Westport, CT: Praeger, 2000), Chapter 1.

5. Ibid.; Khan, “The Scots-Irish as Indigenous People.”

6. Jack Temple Kirby, “The Southern Exodus, 1910–1960: A Primer for Historians,” The Journal of Southern History 49, no. 4 (November 1983), 585–600.

7. Ibid.

8. Ibid., 598.

9. Carl E. Feather, Mountain People in a Flat Land: A Popular History of Appalachian Migration to Northeast Ohio, 1940–1965 (Athens: Ohio University Press, 1998), 4.

10. Obermiller, Appalachian Odyssey, 145.

11. Kirby, “The Southern Exodus,” 598.

12. Elizabeth Kneebone, Carey Nadeau, and Alan Berube, “The Re-Emergence of Concentrated Poverty: Metropolitan Trends in the 2000s,” Brookings Institution (November 2011), http:// www.brookings.edu/research/ papers/2011/11/03-poverty-kneebone — nadeau-berube.

13. “Nice Work if You Can Get Out,” The Economist (April 2014), http://www.economist.com/news/finance-and-economics/21600989-why-rich-now-have-less-leisure-poor-nice-work-if-you-can-get-out.

14. Robert P. Jones and Daniel Cox, “Beyond Guns and God.” Public Religion Institute (2012), http://publicreligion. org/site/wp-content/uploads/2012/09/WWC-Report-For-Web-Final.pdf.

15. American Hollow (documentary), directed by Rory Kennedy (USA, 1999).

16. Linda Gorman, “Is Religion Good for You?” The National Bureau of Economic Research, http://www.nber. org/digest/oct05/ wii377.html.

17. Raj Chetty, et al., “Equality of Opportunity Project.” Equality of Opportunity.” 2014. http://www.equality-of-opportunity.org. (The authors’ “Rel. Tot. variable” measures religiosity in a given region. The South and Rust Belt score much lower than many regions of the country.)

18. Ibid.

19. Carol Howard Merritt, “Why Evangelicalism Is Failing a New Generation,” The Huffington Post: Religion (May 2010), http://www.huffingtonpost.com/carol-howard-merritt/why-evangelicalism-is-fai_b_50397i.html.

20. Rick Perlstein, Nixonland: The Rise of a President and the Fracturing of America (New York: Scribner, 2008).

21. “Only 6 % Rate News Media as Very Trustworthy,” Rasmussen Report. February 28, 2013, http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/general_ politics/february_20i3/only_6_rate_news_media_as_ very_trustworthy (accessed November 17, 2015).

notes

Примечания

1

Ржавый пояс, он же Индустриальный или Фабричный — регион США, где в конце XIX — начале XX века сосредоточилась американская тяжелая промышленность, в частности сталелитейное производство и добыча угля. Включает в себя центральную часть штата Нью-Йорк, штаты Пенсильвания, Огайо, Индиана, Мичиган и Иллинойс. Начиная с 1970-х годов, после упадка промышленности и закрытия большинства заводов, регион находится в глубоком экономическом кризисе. — *Здесь и далее прим. пер.*

2

Хэнк Уильямс-младший (род. в 1949) — американский певец и музыкант. Начинал карьеру с подражания отцу, который считается «родителем современной музыки кантри», теперь поет в смешанном стиле, сочетающем черты южного рока, блюза и традиционного кантри. Его хит «A Country Boy Can Survive» («И деревенский парень может выжить») был выпущен как сингл в январе 1982 года и занял вторую строчку в списке самых популярных кантри-хитов журнала «Биллборд».

3

«Королева пособий» — термин, которым в США обозначают женщин (чаще всего матерей-одиночек), путем мошенничества получающих многочисленные социальные выплаты и живущих исключительно за их счет. Начал употребляться в СМИ с 1974 года.

4

Речь о многолетней вражде двух семейств, Хэтфилдов и Маккоев, в конце XIX века проживавших на границах штатов Западная Вирджиния и Кентукки. Конфликт продлился тринадцать лет, было убито по полтора десятка человек с каждой стороны. После очередной кровавой расправы, жертвами которой стали малолетние дети, чуть было не развязалась война между штатами. Предотвратить ее удалось лишь после вмешательства федеральных властей, которые арестовали убийц и устроили над ними показательный суд.

5

Вариация известной фразы «можно вывести девушку из деревни», которая появилась в США на волне урбанизации 1970–1980-х в качестве реакции на культуру хиллбилли.

6

«Округ Харлан, США» — фильм 1976 года о событиях Бруксайдской стачки 1973 года, когда горняки с женами выступили против руководства угольных шахт и горно-обогатительного комбината.

7

Земельные законы — муниципальные правила использования зданий и прочей недвижимости в определенном районе.

8

«Новый курс» — экономическая политика администрации Франклина Рузвельта. Началась в 1933 году и имела своей целью преодоление «Великой депрессии», повлекшей за собой глубокий экономический кризис. «Новый курс» подразумевал реформы в сельском хозяйстве, борьбу с безработицей, изменение законодательства в сфере труда, формирование пенсионных фондов, а также борьбу с расовой дискриминацией. Сторонники реформ Рузвельта (в основном представители Демократической партии) сформировали коалицию, продержавшуюся вплоть до 1960-х.

9

Аппалачская региональная комиссия — федерально-штатный орган, сформированный в 1965 году для экономического развития Аппалачей. Его программа подразумевала строительство скоростных шоссе, модернизацию системы образования, помощь малому и среднему бизнесу, оказание финансовой помощи наиболее бедным округам и т. д.

10

Дуайт Йоакам — американский кантри-исполнитель и актер.

11

«Проделки Бивера» — черно-белый ситком 1957–1963 годов, рассказывающий о жизни крепкой американской семьи. В 1997 году по мотивам сериала был снят одноименный художественный фильм.

12

Фенилциклидин — наркотический препарат, известный также как «ангельская пыль» или «супертрава». Вызывает галлюцинации и нервное перевозбуждение. Прежде использовался в медицине для внутривенной анестезии.

13

Закон «О реинвестировании сообщества» — нормативный акт 1977 года, обязывающий банки выдавать выгодные кредиты жителям районов с низкими доходами. Некоторые эксперты, в частности, называют его одной из причин ипотечного кризиса 2000-х.

14

«Общество собственников» — лозунг, в 2003 году выдвинутый президентом США Джорджем У. Бушем, подразумевающий рост числа собственников жилья.

15

Хидэки Тодзё — военачальник и политический деятель Императорской Японии, министр сухопутных войск, премьер военного кабинета в 1941–44 гг. Будучи главным сторонником заключения союза с Германией и Италией, принимал активное участие в развязывании войны на Тихом океане. В 1948 году, после поражения Японии во Второй мировой, был казнен как военный преступник высшей категории.

16

Джо Монтана — профессиональный игрок в американский футбол, легендарный квортербек 1980-х годов. Трижды назывался лучшим игроком Супербоула — финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги. В книге идет речь о матче 1989 года между командами «Сан-Франциско Фортинайнтез» («Сорок девятые») и «Цинциннати Бенгалс». Незадолго до окончания игры фавориты сезона, «Фортинайнтез», проигрывали, но Джо Монтана на последних минутах матча преодолел свыше девяноста ярдов и за несколько секунд до сигнала сделал победный пас.

17

Арсикола, RC cola — третий по величине бренд производителя безалкогольных напитков в Америке.

18

«Пятидесятники» — религиозная группа, отделившаяся от христианства, самое многочисленное направление протестантизма. Призывает своих последователей к праведной жизни на основании Священного Писания.

19

«Хулиган из космоса» — первый том книжной серии Брюса Ковилла, популярного в Америке детского писателя, автора более девяноста книг для детей и подростков. В серии рассказывается о приключениях и проказах юного инопланетянина.

20

Никель — обиходное название монеты в пять центов.

21

Дайм — монета в десять центов.

22

Райан Уайт — американский подросток (1971–1990 гг.), ставший национальным символом в борьбе против ВИЧ/СПИД. С детства страдал гемофилией и во время переливания донорской крови заразился ВИЧ. В силу малой осведомленности о природе вируса в те годы подвергался нападкам со стороны администрации школы, учащихся, их родителей, а также соседей. Умер в возрасте восемнадцати лет. В 1989 году вышел художественный фильм «История Райана Уайта»; сам Райан исполнил в нем эпизодическую роль.

23

Кастро — квартал в Сан-Франциско, известный как место проживания представителей ЛГБТ-сообщества.

24

Институт Гэллапа — американский институт по изучению общественного мнения, с 1935 года проводит регулярные опросы населения по проблемам внутренней и внешней политики страны.

25

Креационизм — философская христианская концепция, согласно которой Земля со всеми живыми существами создана по замыслу Творца.

26

АСГС, Американский союз защиты гражданских свобод — некоммерческая организация, целью которой является защита прав граждан в соответствии с Конституцией США. В книге намек на ряд судебных процессов (в частности в городе Питтсбург), где по инициативе АСГС окружной суд запретил использовать в качестве праздничных декораций христианскую символику.

27

Дэвид Лимбо — американский журналист и политический обозреватель, автор ряда книг, в частности «Преследование: как либералы ведут войну против христиан».

28

Под «Восхищением» подразумевается вознесение Церкви для ее встречи с Иисусом Христом накануне Второго пришествия. Понятие очень распространено в протестантской среде, в частности в пятидесятнической церкви.

29

«Оставленные» — цикл из 16 книг-бестселлеров Тима Ла Хэя и Джерри Дженкинса. Повествует о Конце света. Центральный конфликт эпопеи — противостояние членов так называемого Отряда Скорби и воплощенного Антихриста, возглавляющего Мировое Сообщество.

30

Джонни Кэш — американский певец и композитор-песенник, ключевая фигура в музыке кантри. Пик карьеры пришелся на 1960–1970-е годы.

31

«Шевроле эль камино» — автомобиль с открытой грузовой платформой. Выпускался с 1959 по 1960 и с 1964 по 1987 годы.

32

«Линэрд Скинэрд» — американская рок-группа, наиболее известный представитель и популяризатор южного рока 1970-х годов.

33

«Перкинс» — сеть американских закусочных и пекарен.

34

«Бивер Хант» — американский порнографический журнал, издающийся с 1979 года. Первым издателем был Ларри Флинт.

35

«Западное крыло» — американский телесериал телеканала NBC, политическая драма 1999–2006 годов. В центре сюжета — деятельность вымышленной администрации президента США от партии демократов.

36

Средний балл по диплому в США высчитывается по шкале от 0.0 до 4.0 и учитывается при поступлении на направления подготовки бакалавриата. Университеты среднего уровня, как правило, принимают студентов со средним баллом не менее 2.5.

37

Задача джин рамми — собирать комбинации из карт одной масти или ранга в правильной последовательности. Считается родоначальницей многих карточных пасьянсов.

38

«Тако Белл» — сеть ресторанов быстрого питания, специализирующихся на техасской и мексиканской кухне.

39

«Аберкромби энд Фитч» — компания-изготовитель одежды для подростков. Бренд основан в 1892 г. в Нью-Йорке.

40

«Американ игл» — американская компания, предлагающая повседневную одежду, обувь и аксессуары средней ценовой категории. Ориентирована на активных людей в возрасте от 16 до 34 лет.

41

TI-89 — разработка компании Texas Instruments, калькулятор, поддерживающий работу с системой компьютерной алгебры. Позволял решать буквенные уравнения.

42

Американская федеральная программа социальной поддержки предполагает выдачу жителям с малыми доходами талонов (сегодня — пластиковых карт), которые могут использоваться для приобретения в магазине любых продуктов.

43

«Государство всеобщего благосостояния» — концепция политического строя, при котором государство играет ключевую роль в защите и развитии экономического и социального благополучия граждан. Основана на принципах равенства возможностей, справедливого распределения богатства и общественной ответственности за тех, кто не может обеспечить себе минимальные условия достойного уровня жизни.

44

«Молодые и дерзкие» — «мыльная опера», впервые вышедшая в эфир на канале CBS 26 марта 1973 года и снимающаяся по сей день. Самая высокорейтинговая дневная драма на американском телевидении.

45

«Пиллсберри» — компания-производитель выпечки, а также охлажденных и замороженных полуфабрикатов.

46

Академический оценочный тест, SAT — экзамен для приема в высшие учебные заведения в США.

47

Гранты Пелла — государственные студенческие стипендии имени сенатора К. Пелла; представляют собой средства, безвозмездно выделяемые государством на оплату обучения конкретного студента.

48

Билль о солдатских правах — законопроект 1944 года, согласно которому лицам, служившим в вооруженных силах, выделяются стипендии и предоставляются иные льготы. В настоящее время закон распространяется на лиц, увольняемых из вооруженных сил после безупречной службы.

49

Намек на змееносцев — христианскую секту, сформировавшуюся в начале XX века в Аппалачах как ответвление от пятидесятничества. Змееносцы практикуют ношение змей на руках и употребление ядов (включая стрихнин, щелок, карболовую кислоту и электролит), поскольку Бог должен защитить их от укусов и смерти.

50

Ассоциация Евангельских Христиан «Гедеон» — межцерковное содружество христиан, которое занимается бесплатным распространением Библии (в основном через гостиницы и хостелы).

51

«Чипотл» — сеть ресторанов, специализирующаяся на мексиканской кухне. Название происходит от мексиканской приправы, приготовленной из копченого красного перца халапеньо.

52

LSAT — стандартизированный тест, который проводится в специализированных центрах четырежды в год по всему миру. Учитывается при отборе студентов в юридические вузы.

53

«Таргет» — американская торговая сеть, основной конкурент «Уолмарта». Отличается тем, что предлагает более качественный товар.

54

«DayQuil & NyQuil» — средство для облегчения симптомов простуды и гриппа.

55

Тайленол — американский препарат против гриппа и простуды на основе парацетамола.

56

«Принстон ревью» — коммерческая компания, предлагающая услуги репетиторов и преподавателей для подготовки к экзаменам, а также онлайн-курсы в самых разных областях знания. Несмотря на название, к Принстонскому университету отношения не имеет.

57

Великая рецессия — мировой кризис 2008 года. Называется так преимущественно в англоязычной литературе.

58

Джордж С. Паттон — один из главных генералов американского штаба времен Второй мировой войны.

59

«Клепальщица Рози» — картина американского художника и иллюстратора Нормана Роквелла 1943 года, изображающая сильную женщину в джинсовом комбинезоне с пестрым платком на голове — символ патриотизма и женственности. Использовалась в качестве агитационного плаката, призывающего подписываться на военный заем.

60

«Асела-экспресс» — высокоскоростной поезд фирмы «Амтрак», который ходит по Северо-восточному коридору между Бостоном и Вашингтоном; то есть в районе, где обитает самая высокообразованная и высокодоходная часть населения Соединенных Штатов.

61

Алекс Джонс — американский ведущий радиошоу, продюсер и режиссер документальных фильмов, ведет новостную радиопередачу «Шоу Алекса Джонса». Известный конспиролог, пропагандирующий многочисленные теории заговоров.

62

Начертание зверя (печать Антихриста) — выражение из «Откровения» Иоанна Богослова; знак, которым отметят безбожников, символ покорности Зверю.

63

Массовое убийство в начальной школе «Сэнди-Хук» — события 14 декабря 2012 года, когда 20-летний Адам Питер Лэнза застрелил в городе Ньютаун родную мать, двадцать учеников младшего класса, шестерых сотрудников школы, после чего покончил с собой.

Исследовательский центр Пью, базирующийся в Вашингтоне, собирает и классифицирует информацию о социальных проблемах, общественном мнении и демографических тенденциях в США и во всем мире.

65

Намек на мультфильм «Олененок Рудольф 2: Остров потерянных игрушек» 2001 года.

66

«Хоул фудс» — американская сеть супермаркетов, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания без искусственных добавок.

67

«Крекер Баррель» – сеть семейных ресторанов и магазинов сувенирной продукции, оформленных в стиле американского универмага начала XX века.

68

Айн Рэнд — американская писательница и философ русского происхождения. Автор книг «Источник» и «Атлант расправил плечи».

69

«Сан-Пеллегрино» — минеральная вода натуральной газации из источника в итальянских Альпах.

70

Дэвид Фрум — бывший спичрайтер по экономике президента США Джорджа Буша. Работал в изданиях «Уолт стрит джорнал», «Форбс».

71

«Атлантик» — один из старейших и респектабельных журналов США, освещающий вопросы культуры и искусства.

72

Дерби в Кентукки — конные скачки, которые с 1875 года проходят в крупнейшем городе Кентукки, Луисвилле. На ипподроме ежегодно собирается более 150 тысяч человек. Журнал «Forbes» включил скачки в число десяти самых успешных спортивных брендов в мировой истории.

73

Радж Четти — самый молодой профессор экономики в Гарвардском университете, получивший должность в возрасте 29 лет.

74

Тэдди Ракспин — один из самых популярных мультипликационных персонажей в США. Получил известность после мультсериала 1985 года. Тогда же появилась аниматронная игрушка: плюшевый медведь со встроенным плеером, который умел открывать и закрывать рот, «рассказывая» сказки.

75

Эльфы Киблера — мультипликационные персонажи, рекламирующие продукцию компании «Киблер», одного из крупнейших производителей печенья и крекеров. В рекламном ролике логотип компании превращался в дерево, где обитают эльфы.

76

Эми Чуа, преподаватель из Гарварда и Йеля, известна также как автор книги «Боевой гимн Матери-тигрицы», посвященной китайской методике воспитания детей.